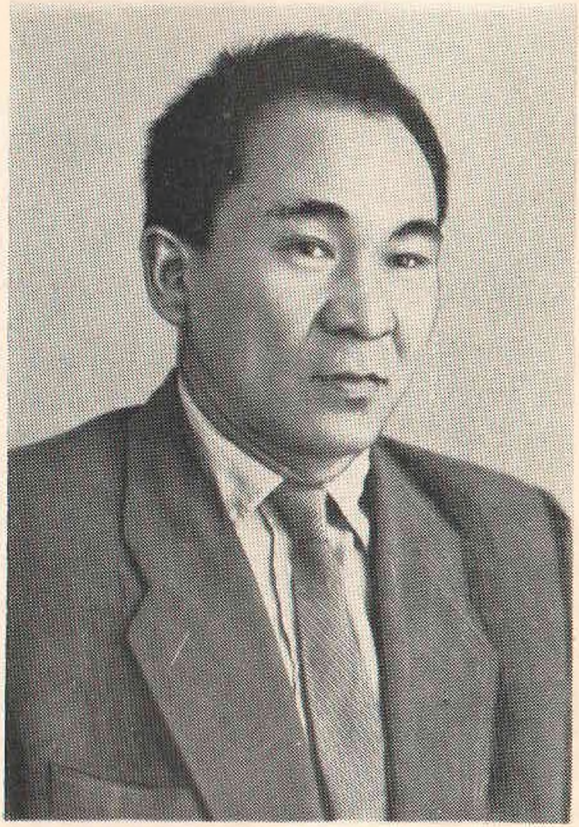

КУБАНЫЧБЕК МАЛИКОВ

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

СТИХОТВОРЕНИЯ.
ПОЭМА.

КИРГИЗСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Фрунзе — 1961

С
М-19

В эту книгу, выпускаемую к 50-летию известного киргизского поэта Кубанычбека Маликова, включены произведения, написанные им в последние годы. В проникновенных строках поэт воспевает родной край, его природу, народ, живущий полнокровной, счастливой и напряженной трудовой жизнью.

Люди сегодняшнего дня, их мысли и чувства, их мечты о будущем, которое они создают своими руками, все новое, что ежечасно появляется в нашей жизни и властно борется с отживающим, уходящим,— вот что волнует поэта и неизменно является содержанием его творчества.

Киргиз

Стихотворения

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Я крепко сдружился с зеленой травой,
Привык умываться водой ключевой,
Меня пробуждал, на заре освежив,
Прохладного ветра веселый призыв.
Мой крик, и рыданье, и песни начало
Впервые родная земля услыхала.

Как дорого слово прекрасное: мать,—
В нем землю родную мы можем узнать.
На этой земле мне дышалось легко,
Я здесь материнское пил молоко,
На этой земле для борьбы я воспитан,
Я солью пропитан, я болью испытан.

Какое высокое слово: отец,—
В нем землю родную услышит боец.
Отчизна, меня посадив на коня,

За правду сражаться учила меня,
Меня закаляла, чтоб стал я булатом,
Чтоб другу был другом, а брату был братом.

Я в детстве по скалам взбирался до звезд,
Птенцов доставал из неведомых гнезд,
Изранил колючками ноги свои...
О, где вы, забавы, тревоги мои?
Родная земля,— горы, бурные воды,
Остались у вас мои детские годы.

Земля моя, с птицами, с шумной листвой!
Когда я вдыхаю твой запах живой,
Мне кажется, юрты отцовской дымок
Мне ласково шепчет: «Сынок мой, сынок...»
От этого запаха, с детства родного,
Мальчишкой беспечным я делаюсь снова.

В те дни, когда я по тебе босиком,
Земля моя милая, бегал бегом,
Места выбирал, где погуще трава,
Возил на теленке-двухлетке дрова,—
В душе моей сила твоя пробудилась,
И кровь твоя в сердце моем заструилась.

О, ты для меня богатела, цвела,
Лаская, меня верблюжонком звала!
Кормила меня, одевала в чапан,
Чтоб стужу я вынес, чтоб вынес буран,
Меня одарила чудесным цветеньем,
И первой любовью, и первым смятеньем.

Тот край не забыть никогда, никогда,
Где вылетел ты из родного гнезда,
Где силою стали усилья твои,
Где гордо расправились крылья твои,—
Тот край, навсегда, навсегда тебе близкий,
Тот край, что зовется землею киргизской.

ПАРИЗАТ[1]

Где найду я паризат?
Может, горный ветер ты
И колеблешь, паризат,
Хлопка белые цветы?

Или, смуглый виноград,
Ты скрываешь паризат?
Или девушки одной
Молодой манящий взгляд?

Или, может, паризат
Средь зеленых луговин,
Где вовсю свистит весной
Соловей — ночной акын?

Не в горах ли паризат,
Там, где плещет родничок
И покрыли горный скат
Тмин, душица и чеснок?

Или, может, паризат
Там, где ветви кедр простер,

[1] Паризат — неуловимая красавица, девушка-фе
(фолькл.).

Иль скрывает паризат
Бирюза степных озер?

Иль девичий голос ты,
Что аил заворожил.
Иль ученый молодой
Паризат для нас открыл?

Все сердца к тебе спешат,
Ты дороже всех наград.
И у каждого своя
В этом мире паризат.

Обрести ее сумей,
Отыщи, как ценный клад.
Навсегда, до склона дней
Будь со мною, паризат!

ПРИХОДИТ РАЗ

Я мысли плавил, как металл,
Трудясь упорно, неустанно.
Затем, чтоб стих мой четким стал
И полнозвучным, и чеканным.

Я ждал необходимых слов,
Я чувств моих вскрывал глубины,
Чтоб сердца стук и ритм стихов
В груди сливались воедино.

Когда в душе восторга нет,
Не будет песня настоящей.
Волненье чувствует поэт
Раз в месяц, но никак не чаще!

...Птиц убивая на лету
И родников глаза смежая,
Зима приходит раз в году,
Все белым снегом одевая.

Но солнце примется за труд,
Под звон ручьев и птичье пенье,—
Раз в год тюльпаны расцветут
У нас в горах порой весенней.

Мир разом крылья распахнет,
Долины бархатом одеты.
А лес шумит и луг цветет—
Раз в год приходит к людям лето.

Но вот упал созревший плод,
И доброй силой налитая,
Как матерь щедрая, раз в год
Приходит осень золотая.

Подобно вспыхнувшим цветам
И облакам, летящим мимо,
Ты, молодость, приходишь к нам
Однажды и неповторимо.

Ты так прекрасна и светла,
Ты, как Чолпон — звезда рассвета,
На смену юности пришла,
Как шло весне на смену лето.

Но в опьяненье этих дней
Не трать напрасно силы жизни.
Весь пыл, всю страсть души своей
Отдай народу и отчизне.

Но если, жалуясь всегда,
Живешь ты праздно, тускло, вяло,
Тогда и в юные года
Ты будешь старым и усталым.

ЧУЙСКАЯ ДОЛИНА

Как синего моря бескрайный разлив,
Чудесной долины простор горделив.
Я в путь отправлялся, тоскою томим,
По долам и весям и кручам твоим.
Увижу твой облик — и жизнь мне сладка,
И песня готова слететь с языка.

Здесь горные реки текут грохоча,
Ворочая камни, на скалы ворча.
И новые ритмы рождает во мне
Вода, что проносится мимо звуча.

Чтоб в знойных степях вырастали цветы,
На запад все реки направила ты.
Недаром зовешь ты к себе Сусамыр:
«Хлынь, синий, в долину, спустись с высоты!»

Народ-трудолюбец возделал тебя.
Ты хлебом его наградила любя.
Засеяли люди здесь все, что смогли,
Не сыщешь клочочка свободной земли.
Земля за добро оплатила добром,—
Мы матерью эту долину зовем.

И те, кто в чудесной долине живут
Навеки нашли здесь и дом, и приют.
Недаром долину зовут золотой,—
Богатые россыпи золота тут.
И вечен в сердцах наших верных людей
Огонь золотой вдохновенных идей.

ЗОЛОТАЯ ЧИНАРА

Ветер землю пробудил
И пустился наутек.
И в листве раздался вдруг
Торопливый шепоток.

На востоке брызнул свет,—
Это солнце шлет привет.
Незаметно ночь ушла,
Новый день теплом согрет.

И чинара у окна
Светом дня озарена.
И народу, шелестя,
Тихо шлет поклон она.

На чинару погляди
Ты сентябрьским ясным днем,
Словно девушка она
В одеянье золотом.

И весною от нее
Отвести глаза нельзя.
Чуть качается она,
Нежной зеленью сквозя.

А потом в июльский зной
В неподвижно жаркий день
Шелестящая листва
Щедро шлет благую тень.

Образ я ее ношу
Даже в дальние края,
Та чинара предо мной,
Будто родина моя.

В свежих отпрысках ее,
Что растут на радость нам,
На зеленых склонах гор
Не смолкает птичий гам.

Далеко видна она
В шедрой зелени своей.
Как родимая страна,
Что на свете всех милей.

ЛИРИКА

Не за бумагой и столом —
Я лириком в то время стал,
Когда взрывчаткой и кайлом
В горах дорогу пробивал.

Пусть о влюбленных день и ночь
Поэты-лирики поют,
А для меня в любом труде
Любовь и лирика живут.

Живи же, лирика моя,
Не угасай, не умирай
И вечным пламенем своим
Сердца и души согревай.

АРЧА

Если бросишь ветку в огонь,
То уж после ее не тронь,
Обожжет тебя сгоряча
Разгоревшаяся арча.

В зимний холод и летний зной
Одинаково зелена,
Пахнет елкою и сосной
И весенним ветром она.

Не гнетет ее и не гнет
Тяжесть снежного серебра,
Сколько лет на свете живет,
Про нее не скажешь: стара.

В землю корни ее ушли,
С ней сроднились там, в глубине.
О поэзия, дочь земли,
Ты такой же кажешься мне.

Даже в пору бед и невзгод,
Скорбно в наших песнях звуча,

Обновлялась ты каждый год,
Как зеленая та арча.

Свежих сил набиралась ты
И впитала солнца лучи.
Ты полна живой красоты,
Словно ветка горной арчи.

Я ПОЮ О ТЕБЕ, ИССЫК-КУЛЬ

Нет печали в тебе, весел шепот волны,
Горы, встав вкруг тебя, достигают луны.
Ты не плещешь волной, ты поешь, Иссык-Куль,
На твоих берегах молодежь, Иссык-Куль.
С нею ты заодно вторишь песне любой,
И кудрявые волны бегут вперебой.

Ты отечество наше, отчизна отцов,
Скольких ты вдохновило акынов-певцов.
Чтоб отчизны достойно прославить дела,
Надо книгу создать, чтобы с гору была,
Но пред мощью страны и народной душой
Книга будет казаться тебе небольшой.
Все богатство души в эти песни вложи.
Нет в тебе вдохновенья, тогда не пиши!

Иссык-Куль, передай нам волненье свое,
Свою глубину, озаренье свое.
Пусть без муторной праздности, без суеты
Будет счастье людское безбрежно, как ты.
И как музыка волн в час взошедшей луны,
Будут дни наши светлым звучаньем полны.

ВДЫХАЯ АРОМАТ ЦВЕТОВ

Киргизстан прошел я насквозь.
Много видеть случилось мне,
Мне бывать не раз довелось
На джайлоо...
Там в вышине,
Аромат вдыхая цветов,
Мне казалось, что я средь звезд.
Воздух родины так здоров,
Что не молод я, а смогу
Спать под зимним небом в мороз,
Расстелив кошму на снегу.
Удивительный облик твой,
Киргизстан, мне дорог во всем:
Слышу голос вечно живой
В звоне речек, в шуме лесном.
В алых красках восхода ты,
В дружелюбье народа ты.
В дыме отчего очага
Ты мне, родина, дорога.
В песнях, радуясь и любя,
Верный сын твой славит тебя!

ПЕСНЯ ПОГРАНИЧНИКА

Если камень, простучав,
С горной кручи упадет.
И архар, вскочив стремглав,
Мчится вниз с крутых высот,

Рассказать всегда могу
Что случилось здесь в горах,—
Пограничник начеку,
Пограничник на часах.

Далеко во все концы
Мир открыт здесь предо мной:
Гор горящие зубцы
В час восхода огневой.

И отчетливо слышна
В этот ранний, свежий час,
Песня друга-чабана
До меня вдруг донеслась.

Пусть спокойно дети спят,—
В тьму ночей вперяя взгляд,

На родимых рубежах
Пограничники стоят.

Я отчизну берегу.
Днем и ночью здесь в горах
Пограничник начеку,
Пограничник на часах.

В ВЫШИНЕ

Свежий ветер свистит в ушах
Схожий с шумной, горной рекой.
И машина на тормозах
Под уклон съезжает крутой,
А потом рванулась вперед,
Словно ловчий сокол летя...
Горный ветер не отстает,
Придорожную пыль крутя.
Подгоняет, торопит он...
А дорога стала темна
Шелестит ольха перед сном
И серебряным колесом
Над скалою кружит луна.

А в ущелье гомон и звон.
То ручьи стекают с вершин,
Торопясь, летят под уклон
Средь растущих ив и рябин,
Шелестящих узкой листвой.
Им ручьи о тайном звенят...
Мне напомнил их блеск живой
Молодой красавицы взгляд.

Под луною вдруг ожила
Уходящая вверх скала,
Тучка та, что серей кошмы,
Вниз к бегущей воде сползла
И ущелье заволокла,
По которому едем мы,
Ватой рыхлою и сырой...
Горы, горы, их снежный строй
Недоступен даже орлам...

Жадно смотрим по сторонам,—
Здесь кругом такая трава,
Что лоснящийся сытый скот
Стал ленивым, щиплет едва...
На вершине тают снега,
Родничок негромко поет
И прохладные жемчуга
Орошают нагорный луг.
В юрте пышет жаром тюндюк
Там пастух живет, скотовод.

Без дорог до этих высот
Овцы прежде бы не дошли...
Не паслись и коровы тут,—
Здесь костьми бы они легли.
Шею вытянув, брел верблюд...
Опасаясь в пропасть слететь,
На коне отборном своем
Ехал всадник, отбросив плеть.
Он с опаскою и с трудом
Пробирался средь грозных скал...
Но ударил здесь аммонал.

Камни с лошадь величиной,
Словно тыквы, разорвались.
Над ущельем грохот повис,
Снеговые потряс хребты...
И дорога теперь ведет
Вплоть до облачной высоты.

Под ногами
дымный провал,—
Оступиться не мудрено.
А дорога промежду скал
Кружит, словно веретено.
Выше, выше...
земля дрожит,
Мы берем последний подъем
Будто нас не машина мчит,
А на туче едем верхом.
Здесь в краю счастливой мечты
Склоны гор покрыли цветы.
Окрыляя людям сердца
Воздух молодость здесь дает.
Этим пастбищам нет конца
И по пастбищам бродит скот.

А пониже, не торопясь,
Кто-то вновь обходит стада,
Лает сонный пес иногда.
А вода бежит, серебрясь,
И в журчащий этот ручей
Смотрят звезды ярким глазком.
Что прекрасней горных ночей?
С детских лет я с ними знаком.

Я о многом думаю здесь.
Тут богатств в глубинах не счесть.
Доберемся мы до глубин!
...Отражая солнечный луч,
Скалы светятся, как рубин.
Здесь встречал я богатырей.
Каждый, как Кожомкул, могуч,—
Он коня поднимал шутя.
Люди, видел, трудились тут,
Глыбы каменные вертя,
Как добычу орел-беркут,
Обновляя землю свою,
Возрождая чудесный край.

Я сказал бы, что мы в раю,
Если б верил в загробный рай.
Здесь трава — архаров приют,
Горный гребень высок и крут,
Как на гонках, мчимся вперед,
Запах трав цветущих остер,
А мотор наш мощный ревет:
«Покорили мы выси гор!»
Вместо узкой тропки витой,
Где архар с опаской ступал,
Мы дорогой мчимся прямой
Через сдавшийся перевал.

А трава желтеет чуть-чуть,
Склоны в мареве золотом,
Будто этот широкий путь
Мы согрели нашим теплом.
Скалы, темные от ветров,

Молчаливым объяты сном.
Сотни раз я снова бы мог
Подниматься этим путем.
Путь — борьбы суровый итог,
Торжество народной мечты.
Слава смелым творцам дорог
Покорителям высоты.

СЛОВА ДРУЗЕЙ

(Из тетради ташкентской конференции)

Ташкент...
По-осеннему рдеет листва.
Ни облачка в небе.
Слепит синева.
Писатели Азии съехались в город.
Крылатыми стали простые слова,
Стихи обрели ястребиные крылья,—
Над рощами взмыли,
Полны торжества.

В ликующих строчках —
И свет и тепло,
Как будто в них солнце Ташкента втекло,
Как будто луна отдала им сиянье,—
Чисты и прозрачны они,
Как стекло:
Горит в них огонь человечьего сердца.
От строчек таких —
На планете светло.

Японец.
Он первым встречает рассвет.
Стране Восходящего Солнца привет!

Китаец.
Земля его шире,
Чем море.
Вот черные братья —
В глазах у них свет.
А песни свои привезли они в сердце —
Ведь лучшего места для песен и нет!

Мелодии Юга, Востока сплелись.
Их слушают рощи,
Внимает им высь.
Казалось, в Ташкент собралось полпланеты...
Листва!..
От дыханья людей шевелись!
Ну что же!
Послушаем речи приезжих —
Поэты на сборе великом сошлись!

ЦЕЙЛОН

Поэт — чернокож.
А накидка — красна.
А в сердце —
Заветная дума одна.
Он — мастер стиха,
Дел он мастер жемчужных:
Жемчужины слов добывает со дна.

Он мудр:
Ведь, как добрый отец, океан,
С рожденья ему в собеседники дан.
Прозрачной волной он промыл его строчки,—
Высокой мечтою поэт обуян:

— Конечно, вы слышали скрипку.
Она
Придумана нами.
Людьми создана.
Светлее, чем звезды,
Умы человечьи!
Их мыслей и дел не охватишь сполна!

Как скрипка, звучит в миллионах квартир
Одно только слово короткое:

Мир!
Его повторяют и труженик мирный,
И пахарь, одетый в солдатский мундир.

Лишь Мир для народа —
Богатство и клад:
Был исстари мирной он жизнью богат.
Мир — как океан!..
Осушить пожелаешь —
Утонешь,
Вовек не вернешься назад.

Мир — это река.
Поверни ее вспять!
Сумеет она все запруды прорвать.
Как щепку, она понесет по теченью
Того,
Кто хотел ее бег задержать.

Мы, люди,—
Течение этой реки,—
Как капли того океана близки.
Так пусть наши скрипки поют лишь о Мире!
Так пусть наши песни не знают тоски!

СЛОВО НЕГРА

На тысяче наречий
Негры говорят,
И мысли их быстры,
Как молнии разряд...
Вот на трибуну вышел
Юный статный негр —
Решительны движенья,
Гнева полон взгляд.

Насильники хотели
Вырвать мой язык,
За то, что только правду
Я говорить привык.
Приставили мне к горлу
Европейцы меч:
Не думай, чернокожий,
Знай трудись, как бык.

Я — человек! Не думать
Больше не могу!
Нет, в рабстве чернокожих
Не удержать врагу!
И у меня, поэта,

Нынче песнь одна:
Свободу братьям черным!
Мир у них в долгу!

Возьму оружье в руки:
Сразу — стих и меч!
Пора всех дармоедов
Неграм сбросить с плеч!..
Змея народ мой душит
Черная змея!..
Пора ей, африканцы,
Голову отсечь!

ИНДОНЕЗИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Плетка да пуля —
Тиранам под стать.
Хлеб у народа отнимут до крошки.
Люди труда!
Вам ли книги читать? —
Денег не хватит купить пол-лепешки!

Но и голодным твой голос,
Поэт,
Слышен, как голос набата, повсюду.
Он для народа —
Как утренний свет,—
Нес ты надежду голодному люду.

Хлеб?
Богачи отдают его псам!
Книги твои?
На помойку швырнут их!
Будь их слова хоть сродни небесам —
Тронешь ли ими насильников лютых?

Нет уж!
Я лучше лопату возьму.
В поле с народом отправлюсь к восходу.

Словом готов послужить я ему,
Делом готов послужить я народу.

Нужен талант мой?
Народу отдам!
Пусть он становится с пушками рядом.
Пусть он ударит по вражьим рядам
Гневным стихом,
Как бризантным снарядом!

СЛОВО ФИЛИППИНСКОГО ПИСАТЕЛЯ

Моя отчизна —
На краю земли...
И вот я здесь —
От родины вдали...
Как близкий друг,
Ташкент меня встречает.
Сто тысяч рук
Пожать бы вы смогли?
Я жму его протянутые руки!
Ташкент!
Твои друзья
К тебе пришли.

Ташкент!
О, как земля твоя тепла!
Она за труд сторицей воздала —
Для урожая закромов не хватит!
А дети здесь —
Судьба у них светла! —
Румянее пшеничных караваев...
А реки здесь прозрачнее стекла.

Отваливая жирные пласты,
Бегут по степи тракторов гурты.
Рычат, как львы,
Сражаясь с целиною.
О мой Ташкент!
Богат и славен ты.
Лежишь ты —
Словно в золотой оправе,—
Край щедрой человечьей теплоты!

КИТАЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Как вежливы,
Культурны иноземцы!
Все время слышишь «джентльмен» или «сэр».
Умеют англичане или немцы
Привить и псам «культуру», например.

А как они изысканно одеты!..
Переливаются шелка, торко[1].
Так выхолены щеголи планеты —
И пятнышко найти бы нелегко

А приглядись поближе к их «культуре»:
Уселись на людей верхом опять!
Они готовы,
Дав простор натуре,
И разум человечий оседлать.

Культуры занимать ли господину?
Мы в прошлом «тонкость» их могли постичь:

---

[1] Торко — сорт шелковой ткани.

На нашей крови замесили глину,
Чтоб для застенков формовать кирпич.

Им разум наш хотелось одурманить —
Подмешивали опий в хлеб и рис.
Китай готовы были прикарманить:
Он весь бы влез в утробы этих крыс!

У целого народа кровь сосали,
Кривя брезгливо и надменно рот.
Но иноземцев,
Утонувших в сале,
Восстав,
Схватил за шиворот народ.

Река,
Струящаяся по равнине,
Просторный край возделанных земель,—
Простым китайцам отданы отныне:
Баюкай нас,
Родная колыбель!
И вот теперь —
Настало время песен:
Из сердца рвутся —
И не сдержишь их!
Так для потока путь в долину тесен,
Когда он мчится вниз меж скал крутых.

Свою судьбу —
Устраиваем сами!
Видать, не всем по нраву эта весть.
Но «джентльмены» с воспитанными псами
Теперь не смеют нам на шею влезть!

О брат мой!
Чужаки-собаководы
Намордник на тебя надеть грозят.
Но не отдашь ты им своей свободы.
Придут —
Пинком их вышвырни назад!

АРАБСКАЯ ДЕВУШКА

Смугла, стройна.
Невинный взгляд ребенка...
Живешь ты на далеком берегу...
Глаза лучисты, как у верблюжонка,—
Гляжу —
И наглядеться не могу!

Вот поднялась ты на трибуну смело.
Твои ресницы черные длинны.
И все вокруг притихло, онемело,—
Все взоры на тебя устремлены.

Глядишь с доверьем,
Словно делегаты —
Твои собратья,
Земляки твои.
И мы киваем:
Мол, права, права ты,—
Дружнее нашей — в мире нет семьи.

Волнуешься.
В глазах слеза блеснула.
Погасла дальним отблеском зари.
Сказала слово —

Болью полоснула.
Зал замер:
Говори же, говори!

Незримую поддержку принимая,
Волненье поборов,
Стоит, скорбна.
Суровая,
Высокая,
Прямая, —
Как мужество само,
Стоит она.

Казалось, что в руке ее зажата
Не свернутая в трубочку тетрадь,
А гневом начиненная граната,
Насильников готовая взорвать.

Казалось,
Что она ее готова
Швырнуть во всех врагов своей земли:
В отцовский край безбрежья золотого
Зачем они,
Незваные,
Пришли?

Да, да!
Недаром мужества полна ты.
Земля твоя отцовская жива!
Осколками взорвавшейся гранаты
По залу пронеслись твои слова:

— Арабам жить бы племенем единым,
Да не желают этого враги!
Склоняйся перед белым господином,
Целуй в пыли следы его ноги!..

Борцов в оковы,
В цепи заковали.
Хватают наших девушек они:
Пускай рыдают пленницы в подвале,
Пускай в тюрьме заканчивают дни.

Нет!
Девушки арабские не слабы!
Рукоплеща,
Внимал ей целый мир.
Казалось, в светлый зал вошли
арабы—
Заговорил с трибуны
Весь Алжир.

...Кивком друзей она благодарила—
И не умела горя превозмочь.
Айша,
Студентка,
С нами говорила,—
Народа угнетаемого дочь!

И как же ей не горевать, не плакать,
Когда в беде сородичи ее?
Созреет плод —

Отдай пришельцам мякоть,
Возьми себе объедки да гнилье.

Ее народ с врагом умеет драться.
Встает народ,
В последний бой спеша...
Нет!
Будет,
Будет радостно смеяться
Студентка —
Черноглазая Айша!

СЛОВО ЯПОНСКОГО ПИСАТЕЛЯ

Трудились японцы,
Не зная гордыни...
Мы славились прежде по миру всему.
И вот мы уже не хозяева ныне
В отцовском,
Когда-то свободном дому.

Забыли язык свой правители наши,
Для вида на нем среди нас говорят.
Как псы на цепи у чужого папаши,
Скулят,
Не спуская с хозяина глаз.

Сидим, где укажут,
Идем, где прикажут.
Диктует нам волю свою Пентагон.
Не пикнем,
Коль янки и руки нам свяжут,—
Уныло плетемся за ними вдогон.

Трясет иноземец упитанной тушей.
Почтительно ловим презрительный взгляд.

Хватаем объедки,
Коль скажет он:
Кушай!
Ну что ж...
Так правители наши велят!

Ведь даже во сне отбивают поклоны
Они,
Привечая заморских гостей.
Склоняются в ноги приезжей персоны,
Как будто родились они без костей.

А кто они,
Гости «почетные» наши?
Обрушили бомбу на нас не они ль?
Закрылись цветов золотистые чаши —
Осела на них ядовитая пыль.

А люди,
Как листья сухие,
Сгорели —
Два города были с земли сметены...
И эти «друзья» нас сегодня «пригрели»,
На «помощь» пришли из заморской страны.

Нам «дружбу» они предлагают упрямо,
Под дулами пушек молчать нам веля.
Нет, лучше бы ожил вулкан Фудзияма,
Дрожа, раскололась под нами земля!

Живем мы в краю Восходящего Солнца.
Но больше оно не восходит и тут!
Взойдет,
Если «гости» из дома японца
Домой подобру-поздорову уйдут!

СЛОВО СУДАНЦА

Готовы исхлестать меня кнутом,
Годами травят,
Не жалея сил.
Моя вина единственная в том,
Что я стихи народу посвятил.

Был грамотным и тыщу лет назад
Народ мой,
К свету рвавшийся из тьмы.
А чужеземцы хитрые хотят,
Чтоб грамоту теперь забыли мы.

Стоят над нами с плеткою в руке,
И мне,
Поэту,
Говорят они:
— Пиши стихи на нашем языке,
Колени перед нами преклони!

Моя вина единственная в том,
Что воздухом и я дышать хочу,
Зову народ в пути его крутом:
— Борись!
Не падай в ноги палачу!

Моя вина единственная в том,
Что не хочу забыть родной язык.
Я не был у народа
Лишним ртом:
Я песнями за хлеб платить привык.

Перед врагом одна моя вина —
Я говорил:
Араб! Земля — твоя!
Она тебе принадлежать должна,
Не отдавай врагу свои края.

За это и пытались палачи
На родине меня
Швырнуть в тюрьму.
А ты, как бессловесный скот, молчи!
Ты,
Как в темнице,
Плачь в своем дому.

Нет!
Слезы высохли мои давно!
Ни вражий меч,
Ни плетка,
Ни свинец
Не умертвят язык наш все равно —
Тот,
На котором говорил отец!

ПИСАТЕЛЬ С ОСТРОВА КИПР

Отелло,
Не страшившийся врага...
Он не отец ли этому Отелло?
О, как им честь обоим дорога!..
Не так ли Дездемона жить хотела?..
Была дорога трудная долга —
Сюда,
В Ташкент,
Душа его летела.

И вот он — говорит.
Какой порыв!
Гремит с трибуны,
Полный вдохновенья.
Он — как Отелло.
Что ни слово — взрыв!
Он — словно море.
Там и здесь — кипенье.
Запри-ка волны,
Бурю укротив,
В темницу!..
Не страшит их заточенье!

— Нет, не взлететь без воздуха орлу.
Не жить и человеку без свободы.
Низвергнут волны в море и скалу,
Но Кипр мы защитим от непогоды!
Мы от врага не спрячемся в углу!
Свобода!
С нею не страшны невзгоды.

Пускай огонь Отелло в нас живет!
Живет любовь,
Как в сердце Дездемоны!
Поэзия!..
И твой орлиный взлет
Зовет нас ввысь.
Честны твои законы!
Борясь с врагами,
Человек идет —
Все вверх и вверх,
Презрев крутые склоны!

МЫСЛИ НЕПАЛЬЦА

Туда не залетают птичьи стаи.
Сверкают горы снежной белизной.
Недаром называют Гималаи,—
Мой отчий край,—
Небесною Страной.

Когда во тьме
Окрестные низины,
И целый мир лежит в ночной тени,—
Целует солнце снежные вершины,
Стыдливо рдеют в небесах они.

Пускай в горах у нас родятся грозы —
Я слово мирное привез сюда.
Мой друг —
Кто, не страшась ничьей угрозы,
Сражается за мир везде, всегда!

Что в мире нам сейчас нужнее мира?
Я здесь его защитников сыскал.
Да будет он
Надежней гор Памира!
Да будет он
Прочней алмазных скал!

Друзья!
Я верю:
Мир имеет крылья!
И Гималаи осеняет он.
Друзья!
Соединим свои усилья!
Пусть Голубь Мира взмоет в небосклон!

В горах долины —
Как большие чаши.
На снежных гребнях теплится рассвет...
Нет выше гор,
Чем Гималаи наши!
Мир! —
В целом мире выше слова нет!

СЛОВО УГАНДИНСКОГО ПИСАТЕЛЯ

Считают нас младенцем-ползунком,
Который может жить одной болтушкой,
И, для потехи наградив пинком,
Готовы позабавить погремушкой.

И если слово вымолвит народ —
Попробуй помолчи,
Когда приперло!—
То забивают кляп железный в рот:
Кричи теперь,
Угандец,
Во все горло!

Но зубы и у нас давным-давно
Прорезались...
И Африка зубаста!
Людьми считаться право нам дано.
Болтушки похлебали мы—
И баста!

Вся Африка —
Как слиток золотой.
Мы за руку схватили крепко вора.
Грабителю мы крикнули:
— Постой!
И вышвырнем его из дома скоро.

ЧЕРНЫЙ ПАРЕНЕК СОМАЛИ

Напоена там солнцем до предела
Земля...
Как луч проросший —
Каждый злак...
Друг солнца —
Сомалиец —
Вышел смело,
Заговорил с трибуны с нами так:

— Ну кто,
Скажите,
Может хмурить брови,
Когда к нему спешит с улыбкой друг?
Улыбка — солнце.
Мир предстанет внове,
Когда она осветит все вокруг.

Сюда,
В Ташкент,
Приехал я впервые,
Забыв о смутных днях моей страны.
Нет, здесь не опускаю головы я:
Здесь все свободны,
Все вокруг равны!

Ташкент!
Друзей приветствовать готовый,
Ты гостю,
Как родному сыну,
Рад.
Я наслаждаюсь дынею медовой,
Я ем твой золотистый виноград.

О, как хотел бы я под мирной лозой
Трудиться здесь,
Прожить хоть целый век!
Но мой народ!..
Он — вечно под угрозой:
Болезни,
Голод,
Вражеский набег!

Моя земля!..
Живется нам несладко
Насильники творят неправый суд.
То день и ночь трясет нас лихорадка,
То, взяв за глотку,
Белые трясут.

Мы боремся!
Враги нас не сломали.
Довольно жить нам в бедности, во мгле!
Гремят орудья в солнечном Сомали,—
Покоя нет и на моей земле.

День встречи, словно праздник, отмечая,
Мы собрались,
Как дружная семья.

Своим заветным
За стаканом чая
Хотел бы с вами поделиться я.

Растают льды —
И с гор помчатся воды,
Заговорят ручьи в степях сухих.
Когда свободу обретут народы,
Заговорят —
Весь мир услышит их!

Они молчали целыми веками...
Украли солнце белые у нас!
Как тигр,
Ходила смерть за бедняками —
И лакомилась нами каждый раз.

Прокрадывалась в сумраке под
крышу —
И тень ее скользила по стене...
Мой день грядущий!
Я сегодня слышу:
Не смерть,
А жизнь ты возвещаешь мне!

АФГАНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

На свете сотни разных языков,
Но всюду мы находим земляков.
Когда дружить готов ты с человеком,
Друг друга вы поймете и без слов.

И если сердце у тебя не лед,
Оно расправит крылья —
И в полет!
В порыве щедром к людям
устремится —
И отклик у людей всегда найдет.

Перо твое,
Писатель,
Как смычок.
Не забивайся в щелку,
Как сверчок!
Сумей людских сердечных струн коснуться,
Дай чувствам сокровеннейшим толчок.

Пой,
Сердце,
Пой!
Восславь родной народ!
Пускай твой жар строка в себя вберет.
И у слона той силы не найдется,
Которая в таком стихе живет!

ВОПРОС ЧЕРНОГО ЧЕЛОВЕКА

Я — африканец,
Я — как уголь, черный.
Ну что ж, друзья!
Беда не велика!
Моя душа светлей, чем снег нагорный,
Она белей и чище молока.

Я — человек!
Рукою огрубелой
Беру мой хлеб —
Он заработан мной!
Я ненавижу и люблю,
Как белый,
Кичащийся своею белизной.

Чужак из рук не выпускает плетки.
Зачем явился он в мою страну?
Чтоб вырвать у меня кусок из глотки?
Но сам его я плетью протяну!

Эй, белый!
Ты прожорливей шакала!
Разбойник!
Вон из моего жилья!

Сто лет гиена нашу кровь лакала,
Но в доме у себя хозяин —
Я!

Весь век трудились мы,
Не зная лени.
Глаза нам заливал соленый пот.
Кричишь ты:
— Черномазый, на колени!
Но в полный рост вся Африка встает.

СЛОВО АЛЖИРЦА

Белый!
Вот обычай лицемерный твой:
Любишь сесть на шею черного, тиран.
Но и у немого —
Голос громовой,
Если ты коснешься незаживших ран.

Рощи молодые
Потянулись ввысь,
Тянет свежим ветром с пастбищ и лугов.
А в пустынях наших бури поднялись —
Выметут отсюда скоро всех врагов

Слышите?
В застенках —
Голосов прибой.
Узники на волю вырвутся вот-вот.
В бой спешат народы.
В справедливый бой!
А поэт их нынче за собой ведет.

ГОСТЬ ИЗ ИТАЛИИ

Я и сам родился
Там, где вечный зной.
Жарко?
Итальянца
Солнцем не проймешь!
По-узбекски город
Говорит со мной:
Видно, на узбека
Я и сам похож.

Я хвалю вас нынче.
Я — не лицемер.
Что на сердце было,
То на языке.
Лживость не прикроешь
Тонкостью манер,—
Честью не торгуют
В нашем городке.

Я гляжу с волненьем
На тебя, Ташкент.
Радуюсь всем сердцем:
Ты, как сад, в цвету.
Вплетены арыки,

Словно сотни лент,
В чащи рощ багряных,
В эту пестроту.

Выдернуты корни
Старого гнилья.
Поросль молодая
Шелестит кругом.
И, дыша прохладой
У дверей жилья,
Реки в гости к людям
С гор спешат бегом.

Да! Народ восточный,
Древний ваш народ,—
Как новорожденный,
Нынче молод он.
Будто он на свете
Первый день живет!
Изумлен я этим:
Может, это сон?

Азия!
Садами
Всех твоих земель,
Как ковром узорным,
Шар накрыт земной.
Азия!
Не ты ли —
Песен колыбель?
Сколько их родилось
Над речной волной!

ИЕНЕС-АНАРХАЕВСКАЯ
сельская библиотека
Кантского района
Инв. №

И твоим поэтам
Изумлялся мир.
Высоки таланты,
Азия, твои!
Низами вознесся
Выше, чем Памир,
Преклонялся Гете
Перед Навои.

Колыбель народов —
Азия моя...
Мировой культуры
Первые ростки...
Самых первых песен
Буйная струя,
Ставшая началом
Будущей реки.

Ты была отсталой.
А теперь, теперь?..
Над тобою ветры
Пронеслись, свежи.
Смело распахнула
В будущее дверь...
Где твоя отсталость,
Азия, скажи?

ГОВОРИТ МАДАГАСКАР

Сумеет оценить кузнец железо.
Но ты,
Захватчик,
Разве нас поймешь?
Что значит сердце для головореза?
Всадить в него он может только нож!

Стояли молча мы перед врагами.
Ты — черный?
Так склоняйся, покорясь!
Как грязь,
Они топтали нас ногами,
Как черную
Безропотную грязь!

И если у тебя —
Под вражьим игом —
Хоть шепотом прорвется вольный дух,
Язык они тебе отрубят мигом:
Теперь ты можешь проклинать их вслух!

Мадагаскар!..
Он — в му́ке и тревоге.
Здесь для пришельцев весь народ —

Батрак.
Униженно стоит он на пороге
Родного дома,
Где пирует враг.

Мадагаскар!..
Он распрямится скоро.
Попробуй удержи в цепях его!
Он вышвырнет насильника и вора
Из собственного дома своего!

Не буду молча я стоять при этом:
Пусть будет песнь,
Как колокол,
Звонка!
С народом я,
А мой народ — с поэтом!
Грабителю я тоже дам пинка!

СНОВА ГОВОРИТ АФРИКАНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Вся Азия сейчас глядит на вас,
Великая Россия и Китай!
Пожар,
Зажженный вами,
Не погас!
Свободу,
Угнетенный,
Обретай!

Разгневанно бурлит прибой морской,
Когда гремит,
Бушуя,
Океан.
Еще бурливей океан людской,
Когда он правым гневом обуян.

Глаза когда-то завязали нам —
Повязку мы теперь сорвали с глаз!
Когда-то руки заковали нам —
Оковы разорвали мы сейчас!

Мы не боимся вражеских угроз...
А враг сейчас дрожит и в летний зной,
Как будто неожиданный мороз
Ударил в центре Африки самой.

Ушла добыча легкая из рук!
Врага колотит яростный озноб.
В нем ужас поселился,
Как недуг,—
Глаза от страха вылезли на лоб.

Разбойник!
Думал, ждет тебя обед.
Но рвотное тебе народ мой дал.
Извергнешь все,
Что ты за сотни лет
В стране моей награбил и сожрал!

Богат мой край,
Лучами залитой.
В густых лесах ручьи бегут, журча.
Песок —
И тот как будто золотой.
Пустыня —
Словно желтая парча.

Я — чернокож,
Я солнцем прокален.
Но сталь крепчает,
Побывав в огне.
Нет!
К белым не пойду я на поклон:
Мою судьбу решать отныне мне.

Незваный гость!..
Ворвался ты в мой дом.
Зачем пришел?
И что с собой принес?
Умен ты?..

Поделись своим умом!
Ты добр?..
Избавь народ от мук и слез!

Но ты решил избавить мой народ
От Африки,
Земли его родной.
Богатства у тебя невпроворот,
Но все ты полон алчности двойной.

Но нет!..
Я от нее не откажусь.
Не отрекусь от Африки вовек!
И я своею родиной горжусь.
Отныне я не раб,
А человек!

Ты золотом мешки свои набил:
Тащи их,
Азиат,
В мое жилье!
Отдать тебе их?
Поумерь свой пыл!..
Ведь это золото
Мое, мое!

— Паси стада —
Я дам тебе овцу! —
Ты был всегда хитрей любой змеи.
Я отвечаю нынче наглецу:
— Все овцы здесь —
Они мои, мои!

Имеешь ты и чернокожих слуг,—
Предателей ты откормил,
Как псов.
Твои ищейки мечутся вокруг
И тявкают на сотню голосов.

... В моей пустыне случай был такой.
Среди песков брели два малыша.
В краю,
Где все испепеляет зной,
Плелись,
От слабости едва дыша.

Пустыне желтой не было конца.
Кто мог бы отвести от них беду?
От жажды задыхались два птенца,
От голода качались на ходу.

О, как пустыня рыжая знойна!..
Как будто в том пылающем краю
Вдруг выхватил из ада сатана
Жаровню раскаленную свою.

И шли по ней ребята босиком —
Горели опаленные ступни.
Брели,
Делясь оставшимся куском.
Держались крепко за руки они.

И если ветер налетал порой —
Их с ног валил крутой его порыв.
Упал один —
Поможет встать второй...
Спаслись они,
Пустыню победив.

Вот так и мы сейчас идем вперед.
Дружны народы Африки моей.
Коль попадет в беду один народ,
Другой спешит помочь ему скорей.

В боях сплотили мы свои полки.
Не устрашит зубастый голод нас —
Ему пообломали мы клыки,
Когда сдружились в самый трудный час.

Уж если в землю кинем мы зерно —
Не отдадим пришельцам урожай.
Вся Африка сегодня — заодно.
Врагу мы говорим:
— Не угрожай!

Пускай свобода наша молода —
Мы не боимся вражеских клыков.
Уж если мы пасем свои стада —
Сумеем отстоять их от волков!

Вся Азия помочь готова нам,
Свидетельница наших слез и мук!
И руку дружбы нашим племенам
Протягивает нынче
Русский друг.

Сольются вместе две больших реки —
И целый океан родится тут.
Сольются океаны,
Велики,—
Они и небо в бурю захлестнут.

Меж облаков запенится волна,
До звезд горящих брызги долетят...
Так пусть объединятся племена,
Коль в рабстве оставаться не хотят!

А вы,
Поэты,—
На передний край!
В бою грядущем будьте впереди!
Вставай на битву,
Африка,
Вставай!
В последний бой свой,
Африка,
Иди!

МОЕ СЛОВО

Я все записал,
Не жалея труда.
Все передал вам,
Что слышал тогда.
Читатель!
Я честно с тобой поделился
Словами,
Которые помню всегда.

Мне памятен гневный писательский пыл —
Был каждый борцом,
Не жалеющим сил.
Лишь вольность одну допустил я,
Читатель:
Я рифмами речи друзей окрылил.

Ты слышишь?
Неистовства ветры полны,—
Летят с азиатской они стороны.
Охвачена Африка гневной грозою —
Над всею планетой раскаты слышны.

Что слышал,
Правдиво вам передал я.
Свидетели этого —
Наши друзья:
Поэт,
Выступавший с ташкентской трибуны,
Писатель,
Приехавший в наши края.

ЦВЕТОК И ДЖИГИТ

В пустыне,
Где блещут пески,
Расцвел ярко-красный цветок.
Влюбленное сердце горит,
Как будто его лепесток.

Отмечен цветами в песках,
Красавица,
Каждый твой шаг.
А может быть,
Сердце твое —
Вот этот пылающий мак?

И в лунные ночи пунцов
Лучом опаленный цветок.
Ты слышишь?
Тихонько вздохнул
В кого-то влюбленный цветок.

Слепит он глаза и во тьме:
Ведь держит он солнце в горсти.
Счастливый джигит от него
Не может и глаз отвести.

Звенит ручеек у корней,
Сбегает он с гор ледяных.
Он шепчет цветку на ушко
О кручах,
О скалах родных.

Джигит,
Не жалея труда,
В пустыню привел ручеек,
Как будто от смерти
В песках
Он сердце любимой берег.

Он холил пунцовый цветок,
Чтоб пламень живой не угас...
Влюбленных джигитов таких
Немало в пустыне у нас!

КОГДА СВЕТИТ ЛУНА

Прекрасна ночь,
Когда цветы
Ресницы лепестков сомкнут...
Стояли с нею мы вдвоем —
Я не забуду тех минут!..
А ветви,
Словно крылья птиц,
Во тьме качались там и тут.

Легко мне шею обвила
Руками теплыми она.
Задумавшись,
Глядела в даль,
В мечты свои погружена.
Казалось,
Что влекла ее
Неведомая глубина.

Журчал ручей невдалеке —
И он был нашей встрече рад.
Мерцали звезды в высоте,—
Казалось,
Вниз они скользят,
Казалось,

К нам,
Счастливцам двум,
Сбежать с небес они хотят.

Из-за лиловых горных круч
Неспешно выплыла луна,
Взглянула с высоты на нас,
В земные дали влюблена.
— Я покровительствую вам!—
Как будто молвила она.

А мне казалось,
Что с луны
Сошла любимая ко мне
И, звезды прихватив с собой,
Светилась счастьем в тишине...
Ах, как я счастлив был в ту ночь,
Оставшись с ней наедине!

Как было не любить ее,
Что,
Словно дочь луны,
Светла,
Когда в нее природа вся,
Казалось, влюблена была!
В ту полночь перед ней одной
Покорно расступалась мгла...

... Теперь,
Когда я выхожу
В луга,
В поля порой ночной,
Все кажется мне каждый раз —
Любимая опять со мной,—

Бредем по берегу ручья
Мы,
Озаренные луной.

Когда любимая с тобой,
То в жизни каждый миг хорош.
Когда любимая с тобой,
Ты словно по небу идешь...
Я так завидую тебе,
Теперешняя молодежь!

О ТОЙ, ЧТО НЕ ЗАСЫХАЕТ

Бросишь ветку в костер —
Сгорит,
Темный лес,
Треща,
Озарит.
Высоки языки костра.
Но о чем огонь говорит?

Круглый год зелена арча.
Терпкий запах плывет, горча.
Над долиной арча парит.

Не засохнет она вовек,
Не обломит ей крыльев снег.
Сколько лет голубой арче?
Отгадай-ка ты,
Человек!

Горделива она,
Стройна.
Ей под стать только ель одна:
Встали рядом у горных рек.

Обе
Царствуют над водой
В красоте своей молодой.
Эх, бы юность занять у них!
Не ходил бы теперь седой!..

Но надежда в душе жива:
Есть на юность у нас права,
Хоть года бегут чередой.

Иссякала в песках река,
Размывали гранит века,
А поэзия —
Все жила,
Юным делала старика.

Пусть давно угас комузчи,
Песнь поэта —
Сестра арчи:
Не стареет его строка!

ДРУГ

Ты так красива!..
За тобой
Готов ухаживать любой.
— Люблю тебя! —
Воскликнет пылко
Джигит с надеждой и мольбой.

Получше приглядись к нему —
Он только гость в твоем дому.
Забросив удочку,
Пылает:
Сейчас красотку обниму!..

Он изгибается дугой,
Зовет любимой,
Дорогой.
Ему бы яблочко отведать,
А там найдет он сад другой.

О! Тут он не жалеет сил!
Добьется —
Вмиг остынет пыл.
— Прости!..
Я тороплюсь, родная!..
Глядишь, и след его простыл.

Тут не помогут и мольбы —
Уйдет,
И, полный похвальбы,
Друзьям расскажет о победе,—
Заржут,
Циничны и грубы.

Таких джигитов видел я...
Щедры родимые края,
Но над цветущими садами
Немало вьется воронья.

Хочу,
Что б ты мудрей была,
Чтоб слез напрасно не лила.
Хочу,
Чтоб ворона такого
Ты за орла не приняла!

ЛУЧ

Когда с работы вечером
Придешь в свою семью,
Сынок влезает на спину,
Как будто на скамью.
Мальчишка так и светится,
Как видно, рад житью.
Как маленькое солнышко,
Вошел он в жизнь твою.

А чуть жена нахмурится,
Метнет сердитый взгляд —
Ведь перед ней, случается,
И сам ты виноват! —
Сынишка так и вскинется,—
Забавы погодят,—
Тревожно на родителей
Глаза его глядят.

Вы оба сразу стихнете —
И улыбнется мать,
Отец за ужин примется —
Ну, где тут воевать!
Сынишка, успокоенный,
Играть начнет опять.

Смущенно переглянетесь
И вы, юнцам под стать.

Дела твои не ладятся,
Расстроен ты вконец.
Сидишь,
Молчишь,
Нахмуренный,—
Подходит сорванец,
Глядит глазами ясными:
Ну что с тобой, отец?
Ах, маленькое солнышко!..
Теплей с тобой, юнец!..

ЛЮБОВЬ

Одним любовь, как божий дар,
Другим— как шутка для хмельного,
Для одного она — удар,
Ночь приключений для другого.

Одним — весенняя пора,
Другим — пугающая крайность,
Иным — картежная игра,
Где выигрыш — всегда случайность.

Одни любовь дает стыдясь,
Другой глушит ее со злости,
Иные люди, расфрантясь,
К любви идут беспечно в гости.

Одни считают пустяком
Переживания влюбленных,
Другие — словно босиком
Стоят на углях раскаленных.

Одни любовь не берегут,
Другим она дана на вечность.

... О как я, милая, могу
Принять твоей любви беспечность!

Коль нет огня в твоей крови,
Коль мне душа твоя не светит,
Уж лучше вечно без любви
Мне одиноко жить на свете.

ЖЕЛАНИЕ

Твое письмо я получил.
Слова приветствия простого
Я их на память изучил;
Их сердце знает слово в слово.

Сверкнув, как зеркальце, лучом,
Ты вдруг исчезла в зимних тучах,
Ты, не печалясь ни о чем,
Свои конспекты где-то учишь.

А я теряюсь от любви,
Себя на муки обрекаю,
Я косы длинные твои
Ладонью мысленно ласкаю.

Я столько дней не сплю подряд,
Играю в письмах в безразличье,
А с фотографии глядят
Глаза с наивностью девичьей.

Навек утерян мой покой...
Но если б только был я властен

Вернуть тебя своей тоской,
Я век печалиться согласен!

Но если б издали я мог
Всю жизнь беречь тебя от мук,
От зол, от горестных тревог,—
Я век согласен быть в разлуке!

ОБЕЩАНИЕ

Когда шумел сентябрь в саду,
Ты мне сказала: «Я приду».
... Сбегали капли со стекла,
Багряный тополь облетал,
А я тебя, как солнце, ждал,
Но ты в ту осень не пришла...

Когда смычком водил мороз
По ледяным ветвям берез,
Ты мне сказала: «Я приду».
От счастья был я сам не свой,
Январь кружился снеговой,
Но я один бродил в саду.

«Когда с вершин снега сойдут,
Когда предгорья зацветут,
Приду к тебе»,— сказала ты.
Тюльпан последний отцветал,
А я тебя все так же ждал —
До первой утренней звезды.

«Когда трескучий звон цикад
И яблок спелых аромат,
И посвист кос пройдет, звеня,

Приду»,— сказала в поздний час.
...О, если б ты хотя бы раз
Не обманула бы меня!

С тех пор прошло немало дней...
И снег не раз сходил с полей,
А ты живешь в моей судьбе.
И все чего-то сердце ждет,
И горечь сладостно поет,
И посвящает песнь тебе.

* * *

Немало бродил я по шири земной,
Немало красавиц видал под луной,
Как в небе созвездья, светились они,
Но не было краше тебя ни одной!

Немало я видел чудесных цветов,
Немало прочел я поэм и стихов,
Но прелесть твою не смогли б повторить
Ни вешний цветок, ни созвучие слов!

ДЕТСТВО

С годами делаясь старей,
На все мы смотрим по-иному,
И все упрямей, все острей,
Тоска по детству дорогому.

В нем сладость меда, запах лип,
Тепло родительского крова,
Оно прозрачно, как родник,
Звенящий в травах на джайлоо.

О, время сказочных цветов,
Ты мне как будто только снилось...
Как я б хотел родиться вновь,
Чтоб радость детства возвратилась!

Чтоб пестрых бабочек ловить,
Чтоб от дождей пускаться в бегство,
Как вновь хотел бы посетить
Я край цветущий — свое детство!..

СЧАСТЛИВЫЙ

Кто счастливей всех на свете?
Тот, кто косит волны трав,
Или тот, кто в дождь и ветер
Мчится, крылья распластав?

Или тот, кто гонит стадо
На альпийские луга,
Иль растит деревья сада,
Или строит города?

Или тот, кто без дороги
Вверх идет по кручам скал,
Где козленок тонконогий
Никогда не пробегал?

На волнах или в полете,
На земле и под землей,
Там, где честный труд в почете,
Счастлив труженик любой!

Я мечтаю, чтобы книжки,
Где мой труд — мои стихи,
Дети в класс несли под мышкой,
И читали пастухи;

Чтоб мой стих был делу нужен,
Чтобы в поле и в строю
Запевали хором дружным
Песню новую мою.

Как ищу я на джайлоо
Самый яркий из цветов,
Так из слов позвонче слово
Выбираю для стихов.

Я пером вооружаюсь,
И летит с пера строка.
Я творю и превращаюсь
В неустанного стрелка.

Как отрадно жить на свете,
Если знать, что вдруг твой стих,
В цель попав, куда ты метил,
До сердец дошел людских.

СКАЖИ МНЕ

Мы вместе в горах не бродили весной,
Не гнались вдвоем за озерной волной,
Своих фотографий ты мне не дарила,
Но облик твой милый всегда предо мной.

Мне больно, когда ты бываешь бледна,
И голос печальный звучит, как струна...
Ты манишь меня этой юной печалью,
Как манит волну голубая луна.

Твой радостный смех для меня всемогущ:
Звенит он и в сердце врывается луч;
Как будто ты с неба сметаешь рукою
Тоску неприглядных нахмуренных туч.

И кажется: в гуще весенних ветвей,
Заслыша твой смех, запоет соловей.
... Скажи мне, навечно ли ты завладела
Печалью моей и отрадой моей?

* * *

Не знаю я об этом дне,
В который, может быть, мгновенно
Ты где-то вспомнишь обо мне,
Но знаю — вспомнишь непременно!

И знаю — до последних дней,
Пока не смолкнет шелест сада.
Душе тоскующей моей
Одна ты — песня и отрада!

С НЕБА

Лечу на небесном будане* верхом,
Лечу, как на облачном белом крыле,
Хотя я почти что достигнул луны,
Но сердце мое, как всегда — на земле!

Лечу я меж синих бесчисленных звезд,
На туче луна, как на черной скале.
Пусть долго я пробыл в небесном пути,
Но сердце мое, как всегда — на земле.

На милую, дальнюю землю мою
Смотрю я, и кажется мне с высоты:
Она бы такой дорогой не была,
Когда бы на ней не тревожилась ты!

* Будан — скакун (кирг.).

О КОМ Я ТОСКУЮ

О ком же, о ком я тоскую весной,
Когда по лощинам блуждаю один?
...И вновь ты внезапно встаешь предо мной,
И пламя в моей закипает груди.

Мне помнится детство: мы топчем песок,
Нас четко волна отражает двоих.
И мысленно каждый седой волосок
Я вырвал из милых косичек твоих.

На озере жизни — любовь, как челнок,
Порой он летит по волнам без весла...
Мне помнится юность, и вздохи тревог,
И руки, как легкие взмахи крыла.

Мне помнятся слезы, и пламя крови,
И даль с золотою весенней листвой.

Покуда дышать мне, во имя любви
Я кмани способен дробить головой.

Подруга, тебя я, как прежде, люблю.
Тоска, как кетмень, у поэта в руках.
Я ею скалистые скалы дроблю,
Слова о любви добывая в горах.

РАЗЛИЧНО ВСЕ

Цветут по-разному цветы,
И меж находок есть находки,
Различны горные хребты,
Различны нравом все красотки.

В глазах одной — лучи огней,
Едва попался в плен к плутовке,
Ты слепо следуешь за ней,
Опутанный и без веревки.

Скромна другая и горда,
Она, как песня, привлекает,
Она как будто та звезда,
Что рядом с месяцем сверкает.

И я, стремясь к своей звезде,
Доволен тем, что в мире этом
Нет одинаковых нигде
Ни звезд, ни чувств, и ни поэтов!

* * *

Нежнее голубки, прекрасней цветка,
Тобой восторгаюсь я издалека.
О, сколько джигитов стремится к тебе,
Но сердце твое равнодушно пока.

Пою о тебе я, надеждой томим,
Тоскую и тайно ревную к другим.
Но если ко мне обращаешь ты взгляд,
Я гибну под солнечным взглядом твоим.

Ты держишься прямо, как в травах цветы,
Как будто мелодию слушаешь ты.
И всюду любуется город тобой,
Лучистым сияньем твоей красоты.

Ты мимо проходишь светла и легка,
Нежнее голубки, прекрасней цветка...
Когда же откроется сердца бутон
Джигиту, влюбленному издалека?

ТВОЯ УЛЫБКА

О, как мне мил твой юный стан,
Он гибкий, словно ветка ивы.
Когда я вижу — ты идешь,
Каким я делаюсь счастливым!

Когда подолгу нет тебя,
Как будто черных туч громада
Весенний, яркий свет луны
От моего скрывает взгляда.

Когда не чувствую тепла
Твоей руки в своей ладони,
Тоской как будто ранен я,
Как будто сердце топчут кони.

Когда заплачешь ты при мне,
Не знаю я, куда мне деться,

Как будто капли слез твоих
Свинцом горячим жгут мне сердце.

А улыбнешься, милый друг,
Тогда я снова неспокоен:
Мне горько кажется, что я
Твоей улыбки недостоин!

НЕ ПРИШЛИ

Нахмурились горы, печальны и глухи,
Завыли ветра, поднимая тревогу.
...На фронт проводили мужей молодухи,
Считают недели, глядят на дорогу.

Ребеночек в люльке и сыт, и спокоен,
Он рад, он смеется прищуренным глазом.
... Как жаль, что домой не вернувшийся воин
Сынка своего не увидел ни разу!

Мальчишки аила играют в солдаты,
Читают с усердием первые книжки.
... Как жаль, что погибшего старшего брата
Не встретит у дома подросший братишка...

Качает колосья созревшие ветер,
Тюльпанами снова покрылась долина.
... Как жаль, что седой аксакал перед смертью
Не смог поглядеть на любимого сына!

Как долго, как горько прощались мы с ними,
С бойцами, ушедшими в пекло и в стужу.

... Как жаль, что невесты не встретят любимых,
Жена не обнимет любимого мужа.

Во веки веков благодарно и свято,
Всей болью своей, всей душевною силой
Нам помнить солдат, не пришедших обратно
Под синее небо родного аила.

* * *

О, если б здесь, в глухих горах,
Меж трав весной бродила ты!
О, если б ты спала в цветах,
Как были б счастливы цветы!

И заливался б соловей,
И никли б травы до земли,
И красоте дивясь твоей,
Тюльпаны ярче бы цвели.

И хмурый день, сдается мне,
Зажегся б солнечным огнем,
И меркли б звезды в вышине
При пробуждении твоем.

О, как я часто по ночам
В горах заснеженных не сплю,
Ревнуя к звездам и к лучам,
Любовь и молодость твою.

ГДЕ ТЫ?

Когда твоих не вижу глаз,
Когда я думаю о нас,
И в доме, полном темноты,
Сквозь сон, как будто бы в бреду,
Всем существом я счастья жду,
Скажи мне, милая, где ты?

Когда, как крылья белых птиц,
Сквозь тень прищуренных ресниц,
Мелькают книжные листы,
Когда, заслыша разговор,
Тревожно вскидываю взор,
Скажи мне, милая, где ты?

Когда, измученный тобой,
Я словно вспененный прибой,
Бросаюсь в озеро мечты,
Когда я грежу наяву,
Когда я жду, когда зову,
Скажи мне, милая, где ты?

Хотел бы петь я для тебя
Нежнее, звонче соловья,
Срывать души твоей цветы...
Когда и днем, и в час ночной,
Ты все со мной и не со мной,
Скажи мне, милая, где ты?

ОСТАНОВИМ, ПОКА НЕ ПОЗДНО

Взгляни на мир весенним днем,
На обновленную природу,—
Сверкая радужным огнем,
Нам солнце сыплет позолоту.

Взгляни на небо в час ночной,—
Луна, сияя упоенно,
Льет мягкий свет на шар земной,
Для всех счастливых и влюбленных.

О, если б в мире тишины
Была б безлюдною планета,
Кто оценил бы блеск луны,
И щедрость солнечного света?

Кто б оценил весны порыв,
Ее зеленые побеги?
...Но если завтра грянет взрыв,
Погибло все — моря и реки.

Мы сгинем, словно муравьи,
Под пеплом атомных пожаров,
Навек умолкнут соловьи,
Умрут столетние чинары.

И все, что создал человек,
Его мечта, его работа,
Все это кончится навек
По алчной прихоти кого-то...

Растает облако вдали,
Исчезнет жизнь в безбрежье звездном...
... Но мы врагу родной Земли
Путь преградим, пока не поздно!

ТЫ МНЕ НУЖНА

О, как тоскливо одному!
Минуя тихую аллею,
Стремлюсь я к дому твоему,
Но вновь приблизиться не смею!

Тебя я всюду стерегу.
Не увидав, надеюсь снова
Найти весной на берегу
Иль летом встретить на джайлоо.

Ты мне нужна, как листьям сок.
Мне б рядом быть с тобой веками,
Но так, чтоб даже волосок
Не протянули между нами!

В КОТОРЫЙ РАЗ

О, как тебя б я не любил,
Признаться в этом нету сил.
Когда б ты шла ко мне навстречу,
Я б снова взгляд свой опустил,
И ни улыбки, ни привета.
Я сам казню себя за это —
Ведь без тебя мне свет не мил!

И мнится мне, что каждый час
Судьба испытывает нас,
А узел тайны все завязан...
И ты не поднимаешь глаз,
И ни улыбки, ни привета,
И ты казнишь себя за это
И ждешь меня, в который раз!

ЮНОСТЬ

О юность, ты утренний шелест в саду,
Ты — рек половодье,
ты — поле в цвету.
Когда по весне о тебе вспоминаю,
Как будто держу на ладонях звезду.

Ты, как сновиденье,
ты — луч,
ты — мечта,
Уйдешь на мгновенье —
уйдешь навсегда!
... Я встретил в горах загорелого старца,
Он пас на зеленом джайлоо стада.

Тропинкой с вершины спускался он вниз,
Как юноша, весел, румян и речист.
Сто лет он вдыхает киргизское солнце,
Сто лет распивает пьянящий кумыс.

Он радует бодрой походкой своей,
Он песню затянет, и в мире светлей!
И кажется, создана юность на свете
Для этих простых и сердечных людей.

ПЕРЕД РАССВЕТОМ

Прекрасен песней соловей,
Цветы полей — цветеньем юным,
А мягкий лунный свет ночей
Души настраивает струны.

Озерный всплеск прозрачно тих,
Волна волну подстерегает.
Взгляни: в созвездьях золотых
Твоя Звезда Любви мигает.

Бледнеет небо, но она
Не блекнет в дали тополиной.
Вокруг сплошная тишина
Лежит бескрайнею равниной.

Щебечут тихо соловьи,
В лицо прохладой веет воздух,

Как сладко думать о любви,
Когда в ночи глядишь на звезды.

Скажи, скажи, моя звезда,
Всегда ли будешь ты светиться?
Иль, может, завтра в горстку льда,
Иль в пепел луч твой превратится?

* * *

Не трогай, пусть живет росток,
Листвы зеленой не кромсай!
В прозрачный, чистый ручеек
Горстями землю не бросай!

Будь зрячей, чуткой ко всему,
К лучам, к мурашкам, к блеску рос,
Не обращай свой гнев к тому,
Кто грусть свою тебе принес.

Любовь усмешкой не трави,
Не хмурь так зло лицо свое.
...Верь, недостоен тот любви,
Кто не способен на нее!

ОПОМНИСЬ

Приветливы, милы улыбки твои,
Слова — словно в роще звенят соловьи...
О, сколько сердец ты в капкан заманила
Обманом своей бессердечной любви!

Зачем, красотою своей ослепя,
Клянешься ты в вечной любви, не любя?
Опомнись!
Поверь мне: как беркут лисицу
Расплата однажды настигнет тебя!

В твоих обещаниях — сладость халвы,
Ты тонко лукавишь, не слыша молвы.
На «Вы» величаешь, готовя удары,
Будь проклято это коварное «Вы»!

Румянец твой нежен, походка легка,
Ты любишь сверкать разодетой в шелка.
Скажи мне, что видеть тебе приходилось,
Куда твой челнок заносила река!

Что знаешь о чувстве, о долге святом?
Ты —тополь весенний с прогнившим стволом...

Он зелен, но даже при тихой погоде
Мне кажется, сдует его ветерком!

Ты все весела и довольна судьбой.
Но чуть лишь сильнее заплещет прибой,
Чуть рябью покроется озеро жизни,
Мгновенно челнок опрокинется твой!

МЕЧТА ДЕВУШКИ

Ты пишешь песни о любви,
О ярких звездах, о судьбе...
Я тайны девичьи свои,
Акын, поведаю тебе.

Под стать стремительным крылам
Моя мечта летит в простор.
Мечте под силу — пополам
Рассечь прозрачный воздух гор.

Мечтаю встретить я того,
Кто лучше всех, кто тих и прост.
Чтоб было сердце бы его
Подобно свету ярких звезд.

Чтоб все твердили бы о нем,
Чтоб от людей ему почет.
... Не кличут птицу соловьем,
Коль эта птица не поет!

Хотела б я потоком стать,
Озерной пениться волной,
Чтоб только счастье отыскать,
Чтоб стать достойного женой.

Не нужен мне такой джигит,
Который ходит все за мной!
Ну кто же беркута сравнит
С какой-то птахаю лесной!

Пусть ходит сотни лет подряд,
Пускай грозится умереть,
Мне нужен тот, чей бойкий взгляд
Заставит девушку краснеть.

А этот — мрачно прячет взор,
А этот — студит в жилах кровь,
И обернувшись, словно вор,
Он тушит девичью любовь!

Но нет, он сердца не украл
Еще нигде ни одного.
Он в страхе от любви удрал,
Скажи, за что ж любить его?!

ПУСТЬ ОН НЕ МОЛОД

Пусть он морщинист, пусть он сед,
В нем не стареет вдохновенье.
...Поет о девушке поэт,
Поет о радости весенней.

О нет, не верь его слезам,
И не печалься грустным видом:
Он этой грустью счастлив сам,
Он снова юным стал джигитом.

Он знает: песня не умрет,
Не пролетит, как птица, мимо...
Не раз влюбленный пропоет
Ее весной своей любимой.

Я ВИДЕЛ СОН

Дорогу видел я во сне:
В цветах, дрожащих белой пеной,
По ней ты двигалась ко мне,
Светя улыбкой сокровенной;
Коснулась плеч — и мнилось мне,
Что мы одни во всей вселенной.

Джайлоо видел я во сне.
Трава высокая дрожала,
По ней ты тихо шла ко мне,
Едва проснулся — убежала!
И только сердце в тишине
Меня, как громом, оглушало.

Чинары видел я во сне.
И ты бродила в тени сада.
Звенели птицы в тишине,
Шептались листья винограда.
О, как ты часто снишься мне
Моя мечта, моя отрада!

Мне звезды виделись во сне.
Ты поздно с поля возвратилась,
Легла. Уснула в тишине,
И вновь луна не нам светила.
...О хоть бы раз, родная, мне
Ты тихий вздох свой посвятила!

* * *

Когда пылала в сердце кровь,
Был мир весенний полон света,
Твои глаза, твоя любовь
Во мне увидели поэта.

И счастлив я, что у других
Мне слов заимствовать не надо,
Чтоб петь бы нежность рук твоих
И свет застенчивого взгляда.

Встреча на Иссык-Куле

ПОЭМА

1

С отрога на отрог, без тропок и дорог,
Торопится к воде рассветный ветерок.
Сияет Иссык-Куль, как будто на земле
Огромный неба клок у Ала-Тоо лег.

Алеющий хребет, облитый новым днем,
Весь в этом зеркале — небесном и земном,
И кажется, сама природа говорит:
Вот драгоценнейший алмаз в венце моем.

Прекрасны гребни гор, ясны глаза озер,
И на простор влечет долин открытый створ.
Да, светел мир. Но как его увидишь ты,
Когда невольная слеза туманит взор?

У юной женщины, что влажною тропой
Бредет по берегу, толкая пред собой
Коляску детскую,— увы, глаза в слезах,
И красота земли ей чужда, как слепой.

Ей труден каждый шаг и оборот колес...
Жемчужины в ушах с жемчужинами слез

Перекликаются, струя печальный блеск,
И на ветру дрожит тяжелый вал волос.

Вокруг все синее, и все — голубизна:
Земля и озеро, и неба крутизна,
И лишь ее лицо белеет, словно мел,
И лишь она одна так мертвенно бледна.

Блуждает взор ее в горах, чья синева
С макушек молоком забелена едва;
Где ей смородину с кислицей собирать
Случалось, и где так кружилась голова,—

Не то от высоты, не то от робких глаз —
От юношеских глаз, в которых страсть
зажглась...
Чуть плещется волна, накатываясь вдруг,
Как боль, что до сих пор еще не улеглась.

И вспоминается ей милый юный друг,
И как они в горах делили свой досуг,
И как смородинки горячие она
Губами мягкими брала из крепких рук.

Он был застенчивым, как девушка. Лишь ей
Улыбку он дарил, лишь с ней чуть-чуть смелей,
И были взгляды их красноречивей слов,
Прикосновенья рук — значительней речей.

Допытывались все подруги: кем он был?
Теперь тот юноша — джигит в расцвете сил.
Товарищ давних дней, он вместе с нею рос,
И утренней звездой ей в юности светил.

Волна ушла в песок и вновь берет разбег.
И губы дрогнули и шепчут: Джолдошбек...
Не глянул, не простил, и не простился он,
А просто от нее ушел, ушел навек...

Позор! Два слога лишь, но тяжких, как скала.
— Не сметь! — слезам велишь, но очи застит мгла.
Ужель презрением джигитов навсегда
Карает девушку позор или беда?

«Уж лучше мне пропасть! Проклясть меня, проклясть!
Сама ведь я, сама накликала напасть!
Как Джолдошбеку я смогу в глаза смотреть?
Кто преступил обет — тот должен низко пасть...

Бутон изведал боль, еще и не цветя:
Дитя я прижила, сама еще дитя!
Чуть солнце за гору — скрываюсь я в дому,
Как в трауре вдова, я хоронюсь, грустя».

Опять береговой песчаною тропой,
Коляску детскую толкая пред собой,
Шекер бредет домой... Ее глаза — в слезах,
И красота земли ей чужда, как слепой.

* * *

Есть холм над озером вблизи от кыштака —
Зеленый горб земли над зыбкостью песка,
Здесь можно увидать в любое время дня
Зеленого юнца, седого старика.

И я сюда хожу, чтоб сердцу отдых дать,
Озерной свежести вдыхая благодать.
Вот и теперь стою, дышу, блаженства полн,
Смотрю: джигита два взбираются на холм.

Один—широк в кости, и смугл, и седоус,
С достоинством несет он тела плотный груз,
И лихо заломив суконный свой колпак,
Он поднимается вразвалку, как гусак.

Другой — румянолиц и молод, но угрюм;
Так ладно городской на нем сидит костюм;
Со шляпою в руке он медленно идет,
Как бы под бременем каких-то тяжких дум.

И все же, как птенец, вернувшийся домой,
Он смотрит с жадностью на горы, что каймой
Обводят даль, на лес, долины и луга,
Где был он выкормлен, взращен своей семьей.

Как рвался он сюда! Как тосковал вдали!
А вот не радует краса родной земли...
Печален Джолдошбек. И, пожалев его,
Джакий сказал, когда они на холм взошли:

— Покинул нас птенец — вернулся он орлом.
Ушел от нас юнец — вернулся агроном.
Мы рады этому, но что-то ты не рад...
Не думаешь ли ты покинуть нас тайком?

О чем, мой младший брат, так тяжко ты
вздохнул,
Когда ты на волну прозрачную взглянул?—
Безмолвен Джолдошбек... Березку ветер гнет,
Джигита ж юного — печальной думы гнет.

Замолкнул и Джакий,— ведь без обиняков
Неловко спрашивать,— не надо, значит, слов.
Не любит в юности расспросов человек,
А зрелость может ждать...
И верно — Джолдошбек
Заметил женщину с коляской вдалеке,
Всмотрелся пристально, спросил: — Джакий-
аке[1],

Кто это бродит здесь? — и густо покраснел:
В жар, видимо, бросило в рассветном холодке.

— Ты разве не узнал ее, мой юный эр?[2]
Ведь это же Шекер, несчастная Шекер!
Бедняжку очень жаль...
— За что ж ее жалеть,
Богатый, кажется, в ее попался сеть!

И этот человек,— так люди говорят,—
Вам не чужой, аба[3]: жены он вашей брат...
— Да, шурином моим похищена Шекер,
И в этом, может быть, я тоже виноват.

Поверь мне, от тебя не скрою ничего,
(Хоть был обманут я, но сам не обману),
Я с шурином порвал, отрекся от него,
И за него не раз ругал свою жену.

Но мало этого: мне горечь сердце жжет.
Ведь не могу же я, как неразумный скот,

---

[1] Аке — отец, вежливое обращение к старшим.
[2] Эр — богатырь, муж.
[3] Аба — дядя, почтительная приставка к именам стариков.

Сломать то деревце, что сам же посадил!
— А если вкривь оно,— сказал джигит,—
растет?
Ученье девушке идет иной раз впрок,
А иногда вредит — так понял я урок.
Прельстилась же она совхозным «богачом»!
А вы терзаете себя: «Не уберег»...

— Не горячись, дружок, ты истину сперва
Узнай, потом суди, чья сторона права.

— Но я ведь вижу сам: так бродят, потеряв
И мужа, и любовь... Не ясно ли, кто прав?

— Молчи, не разум твой так говорит, а гнев!
Зачем злорадствовать, беду ее презрев?
Ошиблась бедная, а ты ее казнишь.
Она твоя любовь, а ты ее грязнишь.—

Услышал Джолдошбек учителя упрек —
И усомнился сам он в правоте своей.
Несправедливых слов его прервав поток,
Сказал Джакий: — Туман предвзятости
развей,
И выслушай меня. Когда письмо пришло,
И я был убежден, что все произошло
По обоюдному согласью, я был рад
И не подозревал, что сотворилось зло.

На той[1] нам не пришлось попасть. Но в дом
входя,
Я громко произнес, обычай соблюдая:
«Пусть крепко птенчика удержит ваш силок!»
Был шурин хмур. Шекер забилась в уголок.

---

[1] Той — торжество, здесь: свадебный пир.

И вдруг она кричит, в ответ на речь мою:
— Аба, неволею взята я к вам в семью!
Тут теща Мистекан разгневалась, браня,
И бедное дитя, и сына, и меня...

Нет, счеты не спеши сводить с душой живой.
Доверься мне, ведь я учитель старый твой:

Сладкого не избегай,
Горького не ругай,
По каменистой тропе
Ты прямиком шагай.

Помни — ты агроном,
Сей отборным зерном.
Недруга распознавай.
Друга встречай добром.

Не поступай наобум:
В действии нужен ум.
Тех, кто думать отвык,
Собственный губит язык.

— Благодарю, аба! — склонился Джолдошбек.
Совсем уж рассвело. Вершин искрился снег.

2

Давайте колхоз «Кельбою» назовем —
«Прибрежным» отраду свою назовем;
Пройдем с агрономом по тропкам родным,
За трудной судьбою его проследим.

Весь день был задумчив он и молчалив.
Далеких джайлоо зеленый разлив
Душе Джолдошбека покоя не дал,
Но дел было много, и он хлопотал.

И он не спускался в долину до звезд,
Покамест их вечер впотьмах не развез
По склонам, и каждая стала костром...
Тогда лишь домой повернул агроном...

Давно серебристый шумит самовар,
И над пиалою колышется пар,
Обилен накрытый в саду достаркан[1],
Янтарен бараньего жира навар.

Здесь юношу не устают ожидать!
«Свет глаз моих!» — шепчет счастливая мать,
«Байке!»[2] — голосисто сестренка кричит,
В восторге бросаясь его обнимать.

А если молчит Джолдошбек за едой,
Молчат и родители: сын утомлен,
Ведь занят работою важною он
И очень измучен дневной суетой.

Они оставляют его одного.
Сестренка лишь вертится возле него,
Но следует по носу легкий щелчок —
Девчонка бежит, показав язычок...

---

[1] Достаркан — накрытый стол, скатерть.
[2] Байке — обращение к старшему брату.

Лежанка под яблоней старой стоит,
Тут сладостен сон и приятен досуг,
Последнюю гасит цигарку джигит,
Он вешает быстро фуфайку на сук,
Нагнувшись, засовывает под кровать
Огромные кирзовые сапоги,
И грузно ложится... А думы опять
Над ним, словно беркуты, чертят круги.

Оставим на время его: он устал,
И зной его жарил, и ветер хлестал,
А нам ведь известен любой его шаг...
Так вот: растянулся по склону кыштак
С обеих сторон вдоль дороги. Пока
Пройдешь от конца до конца кыштака,
Барашек успеет свариться в котле.
Длинна эта улица и широка!

Внизу, где в садах отдыхают сердца,
Живет Джолдошбек у родного отца.
А дом, где Шекер приютилась теперь
Вверху расположен, с другого конца.

Сегодня, когда уж готовилась тьма
Залить головешки заката — с холма
Глядел агроном на нагорную часть...
Еще самолюбия темная власть
Царила в нем, доброе семя глуша,
Но глухо уже бунтовала душа,
И сбрасывал шоры тоскующий взор,
Ища издалека знакомый забор...

Ворочается на кошме Джолдошбек.
Смотрите, в своем ли уме Джолдошбек?

То хмурится, то улыбается он,
То корчится, то разгибается он.

А сон все нейдет и нейдет... Почему
Шекер не становится чуждой ему?
Едва возмужав, оступилась она,
Потом оставалась в постылом дому,
И муж отступился затем от нее,
И мир отвернулся совсем от нее...
Ужели иссяк Иссык-Куль, стал бедней
Красой незапятнанною лебедей?

Нет, лебеди есть на его берегах,
Фазаны — в кустах, куропатки — в горах,
Но соколу нашему ни до кого
Нет дела... Невесты, простите его!

Он, кажется, все же заснул в тишине.
И снится ему: он на том же холме,
(Я слышал, что часто мы видим во сне,
Лишь то, что уж было у нас на уме).

Сюда он взобрался не зря, неспроста:
Ведь это его же души высота!
На ней, словно призраки, рядом стоят —
Разлуки и встречи, явь и мечта.

И ноги скрестив, он уселся. Волна
Внизу шевелилась. До самого дна
Пронизывал озеро пристальный взгляд.
Он видел: огнем занялась глубина.

Потом изумрудно-зеленая мгла
Рубины горячие заволокла,

И вдруг из нее, словно жемчуг морской,
Наверх лебединая стая всплыла.

И самый прекрасный из тех лебедей
Взлетел в синеву. Он был снега белей,
И золото капало с крыльев его,
Легко трепетавших в потоке лучей.

Все выше и выше он в небо взмывал,
И ветер на горле пух раздувал;

Потом он, как молния, воздух рассек,
Спустился на холм, где сидел Джолдошбек.

Расплавился вмиг оперения снег.
Чолпой[1] раззвенелся девический смех.
Не крылья, а косы на плечи легли,
Нежны, словно куний мерцающий мех.

Красавица молвила: «Милый джигит,
Ведь это Шекер пред тобою стоит!
Зачем ты поверил людскому суду?
Отвергнешь — я снова в пучину сойду...»

— В зеленом тумане нашла ты приют,
Тебя поглощает глубин изумруд.
Ужели и волю мужскую мою
В волнах Иссык-Куля с тобою запрут?

---

[1] Чолпа — женское украшение из серебра.

Обнять он хотел ее, но над холмом
Опять только лебедь, сверкая крылом
Промчался... И юноша даже во сне
Подумал, что все это было лишь сном.

Но снова вблизи появилась она.
Березка — и та не настолько стройна!
Жилет на ней горного мака алей,
От облака — платья ее белизна.

В руке ее ярко гвоздика цвела,
И яблоко, крупное, как пиала,
Краснело в ладони. И плод разломив,
Она половинку джигиту дала
Как знак соучастья в игре озорной....
— Вот видишь,— сказала она,— ты со мной!
Ты разве посмеешь уйти от Шекер?
Мы разве не связаны нитью одной?

Судьба наша в наших руках, Джолдошбек.
И камень ломается,— а человек?
Беда, как обвал, навалилась круша,
Вот так и моя надломилась душа.

Но сердца цветок — он живой для тебя,
Не вянущий даже зимой для тебя.
Нежнейшим подснежником сердце мое
Раскрылось, возлюбленный мой, для тебя.

Явись хоть джигиты со света всего —
Не стóят и ногтя они твоего.
Была я застенчивей роз поутру,
Теперь я пришла и тебя заберу!

Сияла Шекер, и склонясь перед ней,
Вскричал Джолдошбек: — Ты души мне
родней...
И камень ломается, ты говоришь,
Но веришь ли — не из таких я камней.

Я звезды не очень-то знаю. Звездой
Лишь ты мне горишь на дороге крутой.
И малую, как просяное зерно,
Крупицу души не отдам я другой!

С тобой я состарюсь под кровом одним.
Когда же рассветом суровым одним
Иссякнет вода, что дано мне судьбой
Испить на земле — буду вместе с тобой
Лежать под могильным покровом одним! —

Подругу желанную обнял джигит.
Казалось, в устах его пламя кипит,
Казалось, коснулся он жаркой звезды,
Чье пламя и манит, и жжет, и слепит.

А небо светлело. Земля обрела
И образ, и краски. И взмахом крыла
Проснувшийся ветер ущелий и скал
Тяжелые ветви в саду закачал.

И падали яблоки, глухо стуча.
Ударило больно одно и с плеча
Скатилось. И вздрогнул спросонья джигит:
— Кто бьет меня? — пробормотал он, ворча.

Раскрылись туманные щелочки глаз.
Где лебедь? Где пери? Морочат же нас
Проклятые сны!
Ах, если б Шекер
И вправду в саду появилась сейчас!

Где красное дивное яблоко сна?
У этих, живых, на боках желтизна;
Срываются, прыгают, как сорванцы,
Как бы насмехаясь: не спи допоздна!

Под солнцем дробится озерная гладь,
Деревья в саду перестали дрожать.
Вздувая остывший за ночь самовар,
Любуется сыном проснувшимся мать.

3

В саманной мазанке жила семья Шекер:
Ее приземистый домишко стар и сер,
Оконца тусклые, кривой дверной косяк;
В сторонке — горкою уложенный кизяк.

Отец Шекер — сухой и жилистый старик,
Он сторож на току и он же арбовщик;
Мать — добрая душа и скромница. Забыть
О горе дочери не может ни на миг.

О, сколько слез она здесь пролила тайком!
Как быстро голова седеет под платком
С тех пор, как в первый раз нежданной
внучки плач
Забился мотыльком под низким потолком.

Лишь утро горное и больно и светло
Всем серебром своим ударило в стекло,
Опять моя Шекер на берег собралась
Свободой подышать в безлюдный ранний час.

Как будто ощупью, медлительно вперед
Коляска катится... Шекер за ней бредет,
Она внимательно глядит по сторонам:
Не то боится встреч, не то кого-то ждет.

Кто может к озеру в такую рань прийти?
Но сердцу трепетать, попробуй, запрети!
А вдруг ей встретится сегодня Джолдошбек?
А вдруг скрестятся тут сегодня их пути?..

Ведь, кажется, она не расстается с ним:
Все видит — и прошел проулочком каким,
И как сбивает он камчою пыль с сапог,
Какую девушку насмешкою обжег,
С какою рядом шел, молчание храня;
И на какого, где, когда он сел коня,
И даже в дом какой вошел он, например,—
Все это явственно мерещится Шекер.

«Мать, кажется, его уже стара совсем,
И тетки вроде нет, чтоб присмотреть за всем,
Заботиться о нем... А может, он женат?»
Шекер до берега дошла: он пуст и нем,

И ни души вокруг. Не то что там людей,—
Кузнечика и то не встретишь в час такой!
Молчало озеро, как будто вместе с ней
Объятое одной печалью и тоской.

Почуяв свежее дыхание зари,
Пустышку прикусив, пуская пузыри,
Ребенок засопел, бессмысленно счастлив...
А мать, старательно газету расстелив,
Уселась рядышком с коляской на земле,
И толстую тетрадь достала. Каждый лист,
Исписанный ее рукой, вопил о зле.
Она прочла строку... Камчи жестокий свист
Ей звуки собственных напоминали слов,
И новой боль была, хоть смысл их был не нов:

«От Джолдошбека мне письмо пришло
И много дней оно мне сердце жгло
От глаз чужих за пазухою скрыто.
Потом пришлось мне, как ни тяжело,
Его порвать. С рассвета до рассвета
Я мучалась, металась, но ответа
Тогда придумать так и не смогла.
Не знаю — как пережила я это...

Кто ж я? И не вдова и не жена.
Была я коршуном похищена,
Он подержал меня в когтях — и бросил...
Скажите, люди, в чем моя вина?

За что мне суждено такое горе?
К старикам своим вернулась вскоре,
Но для чего? Чтоб лишь теперь понять,
Что легче умереть, чем жить в позоре,
Чтобы молчать, когда терзают слух
Насмешки девушек и молодух?»

И слезы брызнули. Бессилен их поток
Смягчить отчаянье, смыть горечь этих строк.

Но есть всему предел... И вот уже Шекер
Вздохнула, скомкала сырой от слез платок;

Пальто и шляпку сняв, раскрытую тетрадь
В траве забыв, она умыться побрела.
С верховья дул «санташ»[1], рассеивалась мгла
И зябко водная поеживалась гладь.

В ту пору надошел сюда и Джолдошбек.
Как только тяжесть сна сошла с набухших
век,
Он выпил пиалу кумыса — и бегом
На берег озера, тревогою влеком.

Коря себя за роль жестокого судьи,
Он лебедя искал, как будто в забытьи
И вправду — женщина стояла у воды:
Ужели то Шекер? Уйти иль подойти?

Решиться — нелегко, уйти — еще трудней!
Нет отчужденнее ее и нет родней.
А сердце билось так безвыходно в груди,
Что мнилось — это был не стук, а плач о ней...

Он все готов забыть, он прибежал сюда
Не самому судить, а ждать ее суда:
Но медлил Джолдошбек: — Что если,— думал
он,—
Шекер мне даже рта не даст раскрыть,
горда?!

---

[1] Санташ — восточный ветер.

А ветер все крепчал. Вот он примял траву,
И пылью замутил пустую синеву;
Вот, любопытствуя, перелистал тетрадь,
И потащил ее, и стал ее трепать.

Шекер от берега заторопилась прочь —
Там шляпка катится, в коляске плачет дочь...
Теперь бы невзначай сойтись лицом к лицу,
Да робость не дает и пикнуть храбрецу.

Тут ветер под ноги ему тетрадь швырнул;
Джигит ее схватил, обложку отвернул,
И с трепетом прочел заглавье: «Эстелик»[1]
(Знакомым почерком написан был дневник).
За пазуху заткнув «санташа» редкий дар,
Наш друг в обратный путь пустился в тот же миг.

Так что, за шлялкою гонясь, его совсем
И не заметила Шекер. А между тем,
За ветром по пятам шел ливень налегке,
И женщина, тотчас забыв о дневнике,
Ребенка увезла.
Вновь берег пуст и нем.

4

Да, берег был снова немым и пустым,
Но мы его нынче опять навестим.
На бабушку дочку оставив, Шекер
Обратно бежит под дождем проливным.

---

[1] Эстелик — памятные записки.

Прозрачные, тонкие плети дождя
Как будто ее подгоняют шутя;
И ветер с налету ей дует в лицо:
— Постой, луноликая, молви словцо!

Но думы ее тяжелее свинца;
Быть может, тетрадка в руках у глупца,
И он во хмелю опозорит Шекер,
При всех очернит в разговоре Шекер:

«Смотрите-ка, брошена мужем она,
А пишет, как честная! Вот сатана!..»
Посмешищем станет Шекер, чья душа
Была так доверчиво обнажена.

— Я горе свое излила в дневнике,
Теперь он в чужой, равнодушной руке...
Давно миновала то место Шекер,
Где утром она изнывала в тоске.

Ей свежая зелень лужайки сырой
Обложкой тетради казалась порой.
Вот неутомимо бурлящий арык;
Не он ли унес ее тайный дневник?

А вот кукурузное поле; дождем
Омытые листья сверкают кругом.
Но, может быть, это ее дневника
Страницы, развеянные ветерком?!

То слезы ее затуманили мир
Иль вновь надвигалась дождя полоса?
Ей чудилось: озеро, словно сапфир,
Вдали затвердело...

Но тут голоса
Совсем уже близко послышались вдруг.
Здесь трое мужчин в мелкой сетке дождя
Початки ощупывали, глядя,
На стебли коленчатые, как бамбук.

О чем-то все спорили, разгорячась.
— Поспела,— сказал Джолдошбек.— Хоть сейчас
Комбайнеры могут уборку начать.—
И еле сдержавшись, чтоб не закричать
Шекер притаилась, дыша тяжело.
Казалось, дыханье джигита дошло
До сердца ее, словно ветер степной,
Несущий с собой не прохладу, а зной.

Она колебалась мгновенье, потом,
Решила, лицо заслоняя зонтом,
Уйти незаметно от этих людей:
Шум листьев и капель способствовал ей.

Бежала Шекер, как в дурмане дурном.
Бежала, оглядываясь назад:
А что, как заметит ее агроном
И скажет, ее унижению рад:

«Как все же бессовестна эта Шекер!
Видать, обыскала полсвета Шекер,
Но мужа себе не сумела добыть,
И гонится снова за мною теперь!»

Бежала Шекер и, горя от стыда,
Рыдала: «Зачем я вернулась сюда?
Дневник? Да хоть пропадом он пропади!
Ведь слухи, как змеи, ползут впереди...»

Бежала в отчаянье горьком таком,
Что по голове кулаком, кулаком
Сама себя била... А дома она
В беспамятстве на́ пол упала ничком...

Быть может, и видел ее Джолдошбек —
Испуг ее, робость, и страх, и побег?
Как знать, может быть, он и сам был не свой
Когда в кукурузу вошел с головой?
Быть может, боялся он больше всего:
Шекер заподозрит — тетрадь у него?

5

Устало дремлет сад, дневным сияньем сыт.
Примчался ветер с гор. Луна в ветвях висит.
Задумчиво глядит на лампу Джолдошбек —
Давно поужинав, он за столом сидит.

Под старой яблоней поставлена кровать.
— Сынок, ложись, пора! — напоминает мать.
Сын машет: лягу, мол, иди! — и достает
Он из-за пазухи заветную тетрадь.

Листает юноша им найденный дневник,
И убеждается: пред ним души тайник.
Писала разными чернилами Шекер,
И каждый лист имел свой цвет, свой дух,
свой лик.

Где были синие — там строчек череда
Переливалася, как небо, как вода,
От красных букв косых страница рдела так,

Как девичье лицо от жгучего стыда;
Где карандаш чернел — там черная беда.

Так юная Шекер, что верила в людей,
Делилась тайною сердечною своей.
Здесь имя милого начертано в тоске,
На первом же листке, и в первой же строке:

«Сегодня Джолдошбек прислал письмо.
И все оно — сомнение само.
И чудаки же парни эти, право,—
Не видят: где любовь, а где забава.
Джигит, джигит! сомнения развей.
Цветок завянуть может, мучим жаждой,
Его сорвать прохожий может каждый —
Что ж медлишь ты, беспечный соловей?

Что не летишь ты к горному тюльпану,
Не лечишь сердца девичьего рану,
Иль, думаешь, нет гордости у нас?
Скажи — какому веришь ты обману?»

Тут Джолдошбек вздохнул: и впрямь, не разберешь,
Как ни стараешься,— где правда, а где ложь.
И он листал тетрадь, а в шорохах ночных
Он слышал явственно: «Не верь ей ни на грош...»

«Как это все случилось? До сих пор
Душа моя немым исходит криком.
Передо мной распахнут был простор,
А очутилась я в ущелье диком...

Все в ночь одну я потеряла тут:
И молодость, и честь, и институт.
Как рассказать о черном вероломстве?
Простят ли, если даже и поймут?

А было так. К экзамену готовясь,
В тот день с утра трудилась я на совесть,
Как вдруг ко мне подсела Лалила
(Она мне однокурсницей была)
И говорит: «Ну, разве это дело —
Ты, Шекерджан, за книгой похудела!
А я сегодня вечером как раз
Позвать тебя поужинать хотела.

Вчера мой милый защитил диплом,
Он ждет нас недалеко, за углом.
Пойдем, будь настоящею подругой,
Нас будет только трое за столом,
И никаких напитков, кроме чая!»
Она ко мне так липла, улещая,
Что я сдалась. В запасе ночь была,
А час-другой — потеря небольшая.

В чем были — в том пошли. Ведь он простой
Студент, как мы, и не на пышный той
Мы отправлялись, а на скромный ужин:
Товарища поздравить — и домой!
Рассказывать подробно я не буду,
Как Лалилы мы родственников всюду
Встречали, как свернули, наконец,
В какой-то переулок, и оттуда
Три парня — не один! — навстречу нам...
— Кто это?

— Ради бога, без капризов,
Ты ж знаешь, милая Шекер, киргизов:
Не мог он отказать своим друзьям!

«Он»,— Лалилы дружок,— был смуглолицый,
С лоснящеюся кожею джигит.
— Зайдемте, выпьем пива,— говорит.—
И я всерьез уж начала сердиться.

Потом он пригласил к себе домой.
Я отказалась:— У меня экзамен.
Позволь мне, Лалила, уйти самой,
А ты еще останешься с друзьями.

Надулась Лалила: — Мы через час
Отправились бы вместе. Но, как видно,
Ты возгордилась презираешь нас,
Тебе повеселиться с нами стыдно...

Мне показалось: ей и впрямь обидно,
И, поразмыслив, я опять сдалась.
Дальнейшее сравнила б я с предгорьем
Хребта, наименованного «горем»...

Я помню в ресторане стол в углу,
Вина среброголовые бутылки,
Хохочущую громко Лалилу,
И незнакомых спутников ухмылки.

Не ослабел и ночью дня накал:
Мне было очень душно. Угощенье
Во мне лишь вызывало отвращенье.
Шампанского мне кто-то предлагал,
Но я лишь пива выпила бокал.

У выхода нас две машины ждали.
(«Поедем на окраину к отцу,
Там отдохнем в прохладе» и так дале).
Все видели по моему лицу,
Что я возмущена неимоверно,
И стали дружно упрекать меня.
(«Внимание и дружбу не ценя,
вы нас не уважаете, наверно...»
«Мы вовремя доставим вас назад...»)

Решила я: упрямиться неловко,
Одна я нарушаю общий лад.
(Не знала я, что это все — уловка!)
Придется ехать в их проклятый сад.

В такси меня с боков зажали туго
Тот смуглолицый и моя подруга.
Машина мчалась плавно. Слабый свет
Отбрасывая, мчались звезды юга,
И тополи оглядывались вслед.

— Но где ваш дом?
— Не бойтесь, недалеко.

Мост позади. Какие-то холмы
Перевалили мы средь полной тьмы.
Но вот уж степь лежит вокруг широко —
Подобием огромнейшей кошмы.

Я попыталась встать, пошевелиться,
Но навалился на мое плечо
И крепко сжал мне локоть смуглолицый.
— Приехали?
— Молчите... нет еще.

— Но что вы замышляете, ответьте?
И Лалила сказала нежно мне:
— Ты будешь всех счастливее на свете,
А мой любимый старший брат — вдвойне:
Шекер, отныне ты моя джене![1]

Я просто не поверила сначала
Своим ушам: такая западня!
Потом в глазах померкло у меня —
Гнев ослепил меня,— я закричала,
Шайтана смуглолицего кляня.

Я угрожала Лалиле, шоферу,
Рвалась из грубых рук, тигрице впору,
О гибели молила сгоряча.
Машина шла, как волкодав, рыча:
Дорога поднималась круто в гору.

Я билась в исступлении таком,
Я так вопила, что боясь огласки,
Мой смуглый страж заткнул мне рот платком,
Подружка же — кольнула коготком,
Уже, как видно, не нуждаясь в маске.

И страх меня, как травку, подкосил:
От горьких слез, от голода и горя
Лишилась я своих последних сил...

Давно в безлунный мрак ушли предгорья,
Машина шла ущельем. По бокам
Чернели скалы, капищам подобны,
Где молятся безжалостным богам,
Лощины раскрывали пасти злобно.

---

[1] Джене — жена старшего брата.

Подчас по коже пробирал мороз:
Казалось сверху валится утес.
Я так была слаба, а рядом — звери,
Им не понять ни слов людских, ни слез.

6

В лесочке очутились мы невзрачном.
Казалось, кто-то в настроенье мрачном
Небрежно горсть домов швырнул сюда,
Где расступилась горная гряда.

Машина, наконец, остановилась.
Раскрылась дверца. Смуглолицый вылез
И вытащил меня. Был поздний час,
Но люди сразу окружили нас.

Как ни отчаянно я упиралась,
Как ни старалась пробудить в них жалость,
Меня, как узел, волокли в пыли,
И в двери на руках почти внесли.

Улыбкою слащавою сияя,
Навстречу вышла женщина седая,
С лицом в морщинах, желтым, словно медь,
Вся нездоровым жиром налитая.

Она была в жакетке дорогой,
Прическа, платье городской покрой,—
Все говорило о борьбе с летами —
Упорной, безуспешной, затяжной.

Так со свекровью Мистекан впервые
Я познакомилась в недобрый час.
Сперва меня глаза ее живые
Оценивали, ласково лучась.
Затем, назвав меня «красивой», «славной»,
Обряд она хотела стародавний
Свершить, набросив на меня платок,
Но в ярости я смяла шелк в комок,
И отшвырнула, выкрикнув с презреньем:

— Зачем вы растоптали честь мою?
Нет, вас я не обрадую смиреньем,
Я ни за что к вам не войду в семью!
Отправьте меня в город!

Все молчали.
Лишь Мистекан с улыбкой, как вначале,
Меня ласкала:
— Бедное дитя,
Не предавайся попусту печали.
Нас точно так же замуж выдавали,
Притерпишься, привьешься, как и я.

— Нет, нет, напрасны ваши уговоры!
Я выросла в другие времена.
Привыкли вы — я не приму позора!
Вам рабство мило — воля мне нужна.
Я вам не лошадь в путах, не корова,
Привязанная к стойлу своему.
Вы люди или звери — не пойму.
Но если человеческое слово
Понятно вам, я повторяю снова:
Отправьте меня в город — и сейчас!
Не вы меня — я опозорю вас!

Они перемигнулись, и старуха
Нахмурившись, заговорила сухо:
— Ну что ж, раз прилепить тебя к себе
Мы не сумели,— принуждать не будем.
Сама хозяйкой будь своей судьбе;
Но дерзких слов твоих мы не забудем.
Злой у тебя, я вижу, язычок;
Уж если нас теперь он так обжег,
Ты в снохи не годна определенно:
Того гляди, на уголь раскаленный
В своем же доме можно наступить!
Жаль, но чему не быть, тому не быть...
Пока же ты хоть чаю выпей с нами,
Немного отдохни, а поутру,
Раз не пришлись тебе мы по нутру,
Мы отвезем тебя — ручаюсь — сами.

Поверила я хитрой Мистекан,
Казалось мне, я впрямь их убедила...
Нас в комнате хозяйка рассадила,
Где был уже расстелен достаркан,
Темно-коричневые боорсоки[1]
Валок образовали невысокий;
Желтели масла твердые комки,
Белели там лепешек мягких горки,
Зеленой редьки резаной витки
Лежали пряжей спутанной и горькой.
Обильем пищи поражая глаз,
Достаток выставлялся напоказ!

Мы пили чай, а смуглолицый водку.
Потом все скрылись за перегородку,

[1] Боорсоки — лепешки, жаренные в жиру.

Остались только Лалила да я,
С какой-то толстогубою молодкой.

Была на что-то молодуха зла,
Подруга тоже на меня косилась.
Любой ценою продержаться силясь,
Чай со слезами молча я пила.
И хороша ж была я в ту минуту!
Простоволоса, кое-как обута
В простые босоножки, без чулок —
В том, в чем ушла на час из института.
Вот так-то, босоногая сноха,
Сидела я, к приличиям глуха[1].

С нагруженным посудою подносом
Молодка вышла. И спросила я:
— Кто ж, наконец, назначен мне в мужья?
Обрадованная моим вопросом,
Меня, как бы прощая, Лалила
По-дружески за плечи обняла:

— Слушай, милая Шекентай,
Не кори нас, не осуждай.
Обошлись мы плохо с тобой.
Погоди, оправдаться дай.

Хоть страдаешь ужасно ты,
Рассердилась напрасно ты:
Мы ведь думали, что потом
Будешь с нами согласна ты.

---

[1] Появляться простоволосой и босой для молодой снохи считалось крайне неприличным.

Ни к чему тут шум поднимать:
Мы уедем утром назад.
Успокоится моя мать,
И другую найдет мой брат.

Что ж поделаешь, Шекентай:
Что несет судьба — испытай.
Гневных глаз я твоих боюсь.
Успокойся. Давай пить чай!—

Измученная, я едва сидела,
И голова клонилась то и дело:
Я занималась ночи напролет,
И вот теперь дошла я до предела...

— Эх, Лалила! А если б над тобой
Так надругались? Если б угрожала
Разлука с милым — ты бы не бежала?
Была б овцой покорной и тупой,
Обет нарушив непоколебимый?
А у тебя ведь тоже есть любимый...

— Ошибаешься, Шекентай:
Раздели я судьбу твою,
Я смирилась бы, так и знай,
И снохою вошла в семью.

Счастье, так же как и беда,
Часто входит к нам невзначай,
Так, для девушки иногда
Муж находится, Шекентай.

Я слушала ее и понимала:
До счастья моего ей дела мало,
А счастье брата требовало зла.

— Себя-то бережешь ты, Лалила,—
Я ей сказала с горечью большою,—
Ты собственной судьбою дорожа,
Легко распоряжаешься чужою!

Коль брат твой нож — ты черенок ножа,
Удар уж нанесен — и можно скрыться.
А жертва как? Для жертвы есть темница.
У брата-подлеца — лиса-сестра...

И ты студентка! И еще вчера
Казалась мне подругой безобидной!
Мне жаль себя, но за тебя — мне стыдно!

Смутилась Лалила. Замолкли мы,
И друг на друга не смотрели даже.
А во дворе, как часть полночной тьмы,
Людские тени стлались — наши стражи

7

О, как мне эта клетка ненавистна!
И штабель одеял до потолка,
И всех ковров, и шырдаков[1] тоска,
Что разостлалась, свесилась, нависла.

О, как страшна, как ненавистна мне
Железная решетка на окне,—
Как будто для преступника иль зверя
Открылись ныне в доме этом двери!

---

[1] Шырдак — расшитый ковер.

Во мне усталость разлилась, как хмель.
Пришла молодка постелить постель,
И затрещала: в толстогубой щели
Слова ее, как муравьи, кишели:

— Вот так вот и выходят замуж все.
Мы бабами свалились с неба, что ли?
Иной бы радоваться своей доле,
А у нее, глядишь, глаза в росе.

Без хмеля были мы в хмельной истоме,
Мы были так же молоды, чисты...
Сегодня глупая девчонка ты,
А завтра можешь стать хозяйкой в доме!—

Меня мутило от бесстыжих глаз,
От трескотни болтуньи толстогубой,
И я сказала ей довольно грубо:
— Уйдите, я улягусь и без вас!

— Э, милая моя, зачем так грозно?
Раз быть тебе мужчиной не дано,
Как ни вертись, а рано или поздно,
Ты молодухой станешь все равно!
Ночь проведи на этой половине,
И, хоть останься чище молока,
Нечестной ты считаешься отныне.
Все вечером артачатся слегка,
А поутру — ручные, как гусыни.
Кобылу и барана с курдюком
Зарезали для свадебного пира
И привезли четыре бочки пива.

Как пренебречь подобным женихом?
Не заносись! Пока еще есть время,
За полы ты его хватай, дитя!..

И вышла толстогубая, сочтя,
Что заронила послушанья семя,
И очень скоро покорюсь совсем я.

Страх шевелился в глубине души.
Вот,— думаю,— как действуют в глуши
Бесстыжие прислужницы насилья!
И вновь мы с Лалилой одни в тиши...

Потом, меня терзая и тревожа,
Как бы в бреду мелькали чьи-то рожи —
Все кто-то приходил и уходил,
И каждый говорил одно и то же,
И я уже совсем была без сил.

Вдруг дверь раскрылась шире и шумнее:
Вошел джигит в сопровожденьи двух
Кирпичнолицых, наглых молодух.
Сонливый, красноносый, с бычьей шеей,
Мне сразу мямлей показался он,
Каким-то недотепой, тугодумом,
В обновках весь, он, видно, был стеснен,
Как бы из жести скроенным костюмом.

Он что-то там невнятно повторял,
Расплывшийся, почти сорокалетний,
И странно, что он теплой ночью летней
Как бы с мороза руки потирал.

— Кто вы? Что нужно вам от меня?
— Этого дома хозяин я.
— Я вас не знаю совсем.
— А вас
Видел я в городе, и не раз.

— Кто же вы?
— Имя мое Калмамбет.
Ваша подруга — моя сестра.
— Так неужели жалости нет
В сердце у вас? Мне домой пора.
Если застанет меня рассвет
В доме у вас — мне спасенья нет!

Засуетилась Лалила:
— Послушай,
Ведь это же и есть мой старший брат,
Тебе рабом служить он будет рад!

— Двуличием не оскверняй мне душу,
Ловушка твоя дружба, Лалила!
Снаружи ты мила — внутри гнила...

Но эта тварь, пока я так кричала,
Поспешно в дверь скользнула и ушла.

Хозяин, жадно глядя исподлобья,
(Тихоней лишь казался этот зверь!)
Стал раздеваться. Молодухи обе,
Хихикая,— «уж потерпи теперь!»,—
Меня швырнули в непонятной злобе
На ложе, свет задули и — за дверь...

Кто мог мою мольбу, мой слабый голос
Услышать? Черной ночи чернота?
Ущелье, где была я заперта,
И глина стен, в которых я боролась?
Ах, Джолдошбек! Растоптана трава...
Забудь свою Шекер — она мертва.

8

Закрыли на замок меня, беднягу,
И не дают одной ступить ни шагу.
И днем и ночью стерегут меня —
Как только встану и как только лягу.

Едва могу дышать под взглядом злым
У той же толстогубой под присмотром,
Изломанная вепрем толстомордым,
Что мужем именуется моим.

Мне жить нельзя, и выбравшись отсюда!
Я умереть хотела — не смогла:
Как мир ни заволакивает мгла,
А юность верит в светлый луч и чудо.

К рассудку моему мой горе-муж
Взывал:
— Ты здесь хозяйка. Почему ж
Ты десять дней упрямишься напрасно,
Меня отталкивая?
Я молчу,
И думаю о том, что я несчастна,
Что никуда уже не полечу —
Из гордых крыльев выщипаны перья!
Была я чище снега, что теперь я?

Ну, убегу отсюда, доберусь
До города, но как с друзьями встречусь?
Как вынесу позора страшный груз?
Как отряхну заглазных сплетен нечисть?

Была я гордой девушкой всегда,
Разумное мне нравилось веселье,
И я любила... Но стряслась беда.
Я в городе сгорела б от стыда!
Нет, лучше я останусь здесь, в ущелье...

И это испытание стыдом,
И древний страх перед людским судом,
И крах надежды, и любви крушенье,
Безжалостное самоуниженье,
Бестрепетное самоосужденье,—
Все, все меня здесь убеждало в том,
Что выход был один: забыть о прошлом...

Сменялись дни в чередованье прочном,
Меня закатов освещал пожар,
Рассветов горных золотили зори,
И иногда, устав от слез и горя,
Я размышляла:
«Он еще не стар,
И не безграмотен. Быть может, вскоре
Я человека, друга в нем найду,
Воркуя горлинкой в его саду».

Так боль в груди пыталась притупить я.
Но вот однажды после чаепитья,
Когда остались мы наедине,
Вновь приласкалась Лалила ко мне:

— Золотая моя джене!
Хоть меня укорила ты,
В доме всех покорила ты.
Мать в хозяйки прочит Шекер:
«Будет все, как хочет Шекер».
Брат мой радуется: «В силок
Птичку редкую я завлек».

Будь податлива, Шекентай.
Будь ты счастлива, Шекентай.
Побыла я с тобой, сестра,
А теперь в институт пора.

Когда ж ко мне золовкою незваной
Полезла целоваться Лалила,
Я с ужасом в глазах ее прочла:
«А я тебя связала без аркана!»

И все во мне перевернулось вдруг,
И самой близкой из моих подруг,
Я плюнула в лицо. Я ослепила
Ее своим плевком. Я ей влепила
Пощечину. Ее сковал испуг,
Она в растерянности отступила,
Лицо закрыла и рванулась вон.
Но хохот мой вдогонку был, как стон...

9

Свекровь с ее повадкою крутою,
Ворчала на кого-то за стеною:
— Брат женится, а ты явилась к нам
Лишь через десять суток после тоя.

Всезнайка толстогубая моя
Шепнула мне, что это Закия,
Дочь старшая, приехавшая с мужем.
Понурив голову, сидела я,
Простоволосая, в линялом платье,
Все в тех же босоножках, без чулок,
Дверь скрипнула, и неуспела встать я,
Как женщина вошла в мой уголок.

Она была румяна и дородна,
А с виду и добра, и благородна;
Недорогой костюм был ей к лицу,
Она держалась скромно и свободно.

Сквозь слезы улыбнулась я с трудом,
(Согрело солнца склон, покрытый льдом),
И слышу:
— Старики твердят недаром:
«Сноха — в семью, а счастье — в дом».

Э, милая, да ты же просто диво,
Как бусинка блестящая красива!
Твой Калмамбет — мой младший брат. Живи,
Ты с ним в согласье добром и любви.
Как сестры, будем мы дружить с тобою,
Я старше — можешь звать меня «апою»[1].

Я запоздала к вам. Все эти дни
Не оставляла служба мне досуга.
Скажи, давно ль вы знаете друг друга?
Но ты в слезах! Ну, что там, объясни?

---

[1] Апа — мать почтительное обращение к старшей женщине.

Казалось мне — она сестра родная,
К ее плечу припала я, рыдая:
— Апа, апа! Не знала я его,
И с ним не говорила никогда я!

Недоуменно глянув на меня,
Она мне не поверила сначала.
Но я сама ей душу открывала,
И, словно думы грустные гоня,
Вздохнув, она меня поцеловала.

Потом спросила:
— Что же ты сидишь
Босой и неодетою, сестренка?
Тут, вслед за ней скользнувшая, как мышь,
Вмешалась толстогубая шпионка:

— Мы все ей дали, Закия-эдже!
Она сама не хочет одеваться.
Глупышка, ну куда тебе деваться?
Пора и образумиться уже.

«И правда,— вдруг подумала я,— хватит
Упорствовать — уж десять дней прошло».
И в новое я нарядилась платье,
Хоть на душе и было тяжело.

А Закия в невольной укоризне
Печально покачала головой:
— Боюсь, у вас не будет дружной жизни;
Птенец с неоперившейся душой
Случайно залетевший в сад чужой...

Ее лицо светилось добрым светом.
Я думала: вот первый в доме этом
Действительно хороший человек!

— Я запоздала,— говорит,— с советом,
Но ты скажи: решив судьбу свою,
Ты согласилась к нам войти в семью?

И я сказала, не скрывая боли:
— Входить — вхожу, но не по доброй воле.

Слова нелицемерные мои
Проникли прямо в сердце Закии,
Она ушла, поникшая устало:
Моя печаль ее печалью стала.

Пока со мной возилась Закия,
У толстогубой, как узнала я,
Был разговор с моей свекровью властной.
— Ну как,— свекровь спросила,— все напрасно,

Иль ты сумела подобрать ключи?
Воскликнула молодка: — Суюнчи![1]

Наряды надевая,
Смирилась молодая.
Терпение и лесть
Спасли нам нашу честь!
Суюнчи, апа, суюнчи!
— Да будет маслом смазан твой язык!
— Апа, твой ум воистину велик!

---

[1] Суюнчи — подарок за добрую весть.

Ее души усладой
Стал наш джигит-жених.
Поверь мне: все как надо
Теперь пойдет у них.
Суюнчи, апа, суюнчи!

Обрадовалась Мистекан известию,
(Она семьи ведь рисковала честью),
И сторублевку — «на уж, получи!» —
Молодке сунула, как суюнчи.

Потом из сундука еще и платье
Достала: «На, донашивай его!»
Была молодка рада щедрой плате,
Свекровь — успеху плана своего.

А я стояла у окна, грустя,
В стесняющем дыхание наряде.
Шаги свекрови услыхала сзади.
И вот, глазами ласково блестя,
Она мне говорит: — Мое дитя...

— Свет очей моих,— говорит она,
Позабудем все — наша жизнь одна!
Наконец-то ты и одумалась.
Вижу — ты умна, хоть совсем юна.

Ты сгубить могла честь семьи моей,
Но уберегла честь семьи моей.
Стала дочерью ты моей теперь.
Быть хозяйкою ты сумей теперь.
Этот дом — он твой. Будешь в нем главой.
Пусть разгонит грусть милый голос твой.

Я выслушала льстивые слова
И слезы вытерла. Она права:
Я в их руках... И у невестки
Почтительно склонилась голова

— Да ниспошлет тебе сынов всевышний! —
Воскликнула, ликуя, Мистекан.
И у старухи выпрямился стан,
Когда она, легко ступая, вышла...

Когда все испытания мои
Известны стали мужу Закии,
Разгневанный не мог стерпеть он это,
И сам призвал к ответу Қалмамбета.

(Мне толстогубая его слова
Пересказала — эта молодуха
Страдала редкой остротою слуха:
Услышит слово — перескажет два).

Сидел понуро неуклюжий шурин
Пред зятем, и Джакий его громил:
— Как ты осмелился жениться, дурень,
На девушке, которой ты не мил?

Ты чью-то дочь украл тайком и прячешь,
Хоть ничего ты для нее не значишь.
Кто друга жизни выбирает так?
Придет пора — ты, как она, заплачешь.

Послушай-ка, тебе совет дают.
Раз ты не понял сам — тебе скажу я:
Отправь ее обратно в институт,
Не смеешь ты калечить жизнь чужую!

Ты рос среди людей, живешь в труде,
А оказался просто зверем злобным,
Насильником! Скажи мне только, где
Ты научился выходкам подобным?

Не мог и глаз поднять мой Калмамбет,
Не мог и слова он найти в ответ,
И я вернулась бы, возможно, в город,
Никто бы не посмел сказать мне «нет»,
Так были все пристыжены Джакием
(Он не прощал и мелкие грешки им!)
Но ворвалась свекровь — и ну свою
Честить родную дочку, Закию:

— Говорят, замужняя дочь,
В юрте уж ненужная дочь.
Ты не лезь сюда, Закия,
Управляю здесь только я!

Я с невесткой милой моей
Прожила одиннадцать дней.
Поначалу — мы тут ни при чем,—
Как ведется — слезы ручьем,
А сегодня — покорный взгляд,
И надет дареный наряд.
Прикуси же язык, Закия,
Не вноси к нам в семью разлад.

Я от вас не ждала даров,
Но и в дом не звала врагов.
Дело сладили мы — и впредь
Поучений и дерзких слов
Не намерена я терпеть!

Джакий ответил:
— Разве добровольно
Ребенок этот входит к вам в семью?
Она с другим связала б жизнь свою,
А вы глаза ей завязали больно
У пропасти глубокой на краю.

Она остаться может в доме вашем
Из страха — ей позор, бедняжке, страшен!
Но если уж она решит уйти,
Кто стать посмеет на ее пути?

Обидными сочла слова такие
Гордячка Мистекан, и на Джакия,
Упреками его уязвлена,
С упреками набросилась она:

— Наконец-то, мой милый зять,
Мне тебя удалось узнать.
Ты о родственниках своих
Что угодно готов сказать!

Да и что для тебя родство?
Всем вокруг объяви со зла,
Что от шурина твоего
Молодая жена ушла.

Будет вам с женой все равно,
Что на сыне моем пятно.
Если вы так стыдитесь нас,
Пропадите, уйдите с глаз!

Этот наш долгожданный той
Омрачили вы клеветой;
Вы грубите бездушно мне,
А невестка послушна мне.

Люди близкие вы, родня,
Так зачем вам чернить меня?
Если птичка уже в силке,
То бессмыслена болтовня!

Джакий насупился. Его жена
На мать неодобрительно глядела.
Жестокостью ее возмущена;
Она вздыхала тяжко то и дело,
И Мистекан на дочку налетела:

— Что вздыхаешь, моя душа,—
Мать-старуха нехороша?
Все вы, дочки — семья чужая,
Все не стоите ни гроша!
Сын единственный Калмамбет —
Вот опора на склоне лет.

Что ты смотришь исподтишка
На воителя своего?
Иль подзуживаешь муженька,
Иль побаиваешься его?

Я хозяйка в своем дому,
Не позволю спугнуть никому
Птицу счастья, что залетела
В руки к первенцу моему!

Подол и рукава, в знак отреченья,
Старуха отряхнула и, слепа
От ярости, ушла из помещенья.
Напрасно Закия звала: «Апа!»,
Она не оглянулась. И Джакию
Жена сказала:
— Обрети покой,
Что делать, нрав уж у нее такой,
Твои ж слова — правдивые, прямые,
Мой младший брат повинен в страшном зле,

Что ты сказал — то им сказал бы каждый.
Пойдем. Мне кажется, что в пиале
Не чай, а яд. От голода и жажды
Уж лучше умереть, чем пить и есть
У тех, кто совесть потерял и честь.

Им удалось в автобус сесть, когда
Зажглась безмолвно первая звезда.
Мои доброжелатели простились,
Чтоб больше уж не приезжать сюда...»

Дойдя до этих строк, подумал Джолдошбек:
«Я узнаю тебя, чудесный человек,
Учитель мудрый мой, добряк Джакий-ага,
Ты справедливости усерднейший слуга».

И вспомнилась ему беседа на холме
И тот мучительный разброд в его уме,
Который после слов учителя возник...
Зеленая тетрадь — возлюбленной дневник:
Тетрадь — души гнездо, страницы — соловьи,
Поющие в ночи про горести свои.

10

Зеленая тетрадь. Шуршат страницы вновь,
Нет, не шуршат—вопят, что жестока свекровь...

«Смирившись, я взвалила на себя
Все хлопоты по дому. Не могла же
Я день за днем бездельничать, скорбя!
И вот — мету, варю, стираю, глажу.

Раз Калмамбета мужем признаю,
Ему я волю подчиню свою.
Ведь надо ж было как-то жизнь наладить,
Ввести в какую-нибудь колею!

А муж — и утром, и придя с работы,
Все время не отходит от меня,
Пытаясь рассмешить, бормочет что-то,
Робеет, низко голову клоня.

Он от меня ждет счастья, как ни странно,
Я жду — хотя бы затянулась рана!
Так оба в ожиданье и живем...
Мы как-то утром пили чай вдвоем.
Вошла свекровь и сыну закричала:

— Ты на часы бы посмотрел сначала!
Сидишь, как будто и работы нет,
Опаздываешь, хоть и встал чуть свет.
Смеяться скоро станут: был джигитом,
А стал щенком домашним Калмамбет!..

Муж промолчал. Он только хмурил брови,
И посидев немного, вышел злой.

Я молча — пиалу за пиалой —
Чай подавала тоже злой свекрови.

Потом у нас был краткий разговор,
Она вопросы ставила в упор:

— Что, он большой начальник, твой отец?
— Нет, он колхозник.
— А верны догадки,
Что много у него добра, овец?
— Мы не богаты, но живем в достатке.
— О чем ты говорила с Лалилой,
И почему она такой унылой
Уехала?
— Не знаю...

Как пилой,
Меня в то утро Мистекан пилила,
Покамест — пиалу за пиалой —
Хлебала чая черного настой.

Старуху вечно злоба разбирала,
Я только и слыхала грозный зов:
— Шекер, уж ночь, а ужин не готов!
— Шекер, чего ты в комнате застряла?
— Как, ты еще белье не постирала?

И так весь день: «Скорей! Скорей! Не смей!»
Свои уста храня от сквернословья,
Ни в чем я не перечила свекрови,
Но не искала и сближенья с ней.

Не выпрямилась я еще. К тому же,
Надеялась найти опору в муже.
Но властной матери безвольный сын
Развеял ту надежду в миг один.

Однажды он — уже не как подачку,—
А как хозяйке — дал мне денег пачку:
— Я получил зарплату. На, возьми!
Тогда свекровь вмешалась. Что тут было!
Она слюною брызгала, вопила,
Толкала сына, хлопала дверьми,
Орала на всю улицу с порога:

— Эй, люди! Это муж иль женин раб?
Смотрите, как он перед нею слаб!
Зачем детей вымаливать у бога?
Чтобы растить из них таких растяп?
Как жалкая синичка эта ловко
В него вонзила коготки тайком!
Едва лишь в дом вошла, а муженьком
Уже как хочет вертит, вот чертовка!

— Апа, апа! — я деньги ей сую,—
Мы опозорились перед людьми. Берите!

— Ах, у тебя еще хватает прыти
Приличиям учить свекровь свою?!

Птичка серая, мне, седой,
Ты немалой грозишь бедой.
Вы сведете меня в могилу —
Калмамбет со своей женой.

Дочь ушла сама не своя,
Сын томится, печаль тая.
Скоро, видно, и мать прогонят,
И отправлюсь скитаться я.

Ох, и быстро же, свет моих глаз,
Верховодить ты стала у нас!
Признавайся, когда ты в землю
Закопать меня собралась?

Каких я оскорблений и проклятий
Наслушалась тогда от Мистекан!
Стоял мой горе-муж, как истукан,
И даже не пытался возражать ей.

Я поняла: не может быть иною
Та жизнь, что в жалком страхе начата.
Казалось мне — раз безвозвратно мною
Утеряны свобода, чистота,
Я постараюсь стать ему женою...
А я сюда работницей взята!

11

Весь день вились в ущелье вихри пыли,
Вокруг стоял коричневый туман.
И в сумерки, что быстро наступили,
Пораньше осушив до дна стакан,
Дымила папиросой Мистекан.
Но, как всегда, за мной следила зорко...
За дверью лаял пес. По поговорке:
«Раз ты собака — лаять есть твой долг».
Но кто-то подошел, и пес замолк.....

Открылась дверь. Ворвался ветер горный,
Как бы с собою девушку внося.
Она была покрыта пылью вся:
Плащ, чемодан, рюкзак, платок узорный,
И Мистекан не сразу поняла,
Что перед ней стояла Лалила.

Потом она к ней бросилась в тревоге:
— Что там случилось, дочка? Ты больна?
А та в ответ:
— Дай отдохнуть с дороги.
Из института я исключена.

— Исключена? За что?
— Уличена
Я комсомольцами в плохом поступке,
Вот я и поплатилась за него.
— Нет, что-то не пойму я ничего.
— Тебе еще не ясно, что стряслось?
За все благодари свою невестку.
— Не может быть! Ужели нам в отместку
Смиренница отправила донос?
— Нет, не она, а близкие нам люди —
Вот наши погубители и судьи!

Есть учитель Джакий-аке,
Этот мой родной джездеке[1],
Твоей старшей дочери муж,
Держит нас в своем кулаке.

---

[1] Джездеке — муж сестры.

Стражем честности притворясь,
Грязью он меня забросал.
Это он в институт про нас
Заявление написал:
«Как член партии и педагог,
Мол, пройти я мимо не мог,
А обделывала дела
Недостойная Лалила».

Тут, конечно, допрос пошел:
Почему прогуляла, мол...
Как на вертеле, дочь твою
Стал поджаривать комсомол!

Так была я исключена,
Своим зятем разоблачена...

И Лалила проклятье за проклятьем
Джакию слала, злые слезы лья.
Мать подзадоривала:
— Зять-то зятем,
Но и сестричка хороша твоя!

И настала ж у нас пора:
Дочка хочет ославить мать,
Не жалеет сестру сестра,
И свояченицу губит зять.

С кем делили мы здесь еду,
Тот накликал на нас беду.
Не про нас ли сказано так:
«Был тумак, так еще кулак!»

Но пускай болтают вокруг,
Будто я, как ленивых слуг,
Прогоняю своих невесток,—
Власть не выпущу я из рук.

Ишь, как злится эта Шекер!
Что за птица эта Шекер?
Может с нами захочет скоро
Распроститься эта Шекер?

Что ж, другую невестку в дом
Мы в колхозе себе найдем,
Не решающуюся перечить,
Не гнушающуюся трудом.

Да и ты не горюй: бог с ним,
С институтом твоим дурным.
Сколько там ни учись, а все ж
До «прописаря»[1] не дойдешь!

Вреден девушке книжный прах,
Лучше ты про него забудь,
Много есть джигитов в горах,
За полу схватись чью-нибудь.

Старуха снова водки налила:
Да пропади ты пропадом, наука!
— Возьмите,— улыбнулась Лалила,
Протягивая ей головку лука.

---

[1] «Прописарь» — так полуграмотная Мистекан произносит слово «профессор»

12

О, этот день, начавшийся светло!
С утра, едва поднявшись, солнце жгло,
Как будто полдень был уже в разгаре:
Оно дробилось в белом самоваре,
Играя, разбивалось о стекло,
Но в грудь ко мне проникнуть не могло...

Ждала я к достаркану Калмамбета.
Вдруг письмоносец, что принес газету,
Мне подал и конверт: «А это вам».
И заглянул мне в душу лучик света.

Товарищи, подумайте! В письме
Мне в институт вернуться предлагали!
Я только что и днем жила во тьме,
И вдруг раскрылись солнечные дали!

Мне матерью казался институт,
Зовущей издалека — не на суд,
Не на расправу, а в тоске и горе:
— Дитя мое, куда исчезло ты?
Я видела уже, как мне цветы
Кивают с клумб у стен аудиторий,
Как моего окна горит алмаз
В лучах зари; я из него не раз
Задумавшись, на милый мир смотрела...

Прощай, ущелье! Здравствуй, счастья час!
Я удивила даже горе-мужа:
Ушла впервые отчужденья стужа,

Увидел он веселую Шекер,
И с нежностью промолвил неуклюжей:

— Ты подобрела, горлинка моя?
Я знаю, пред тобой виновен я,
Замкнулась ты, меня сковала жалость...
Так и живем, обиды боль тая...
Возможно ли, чтоб так же продолжалось?

Он взглядом вопрошающим ловил
Ответ в моих глазах, еще суровых,
И взглядом этим он остановил
Удары слов, уже разить готовых.
Так искренна была печаль его,
Что вдруг мне даже стало жаль его.

И вновь, мгновенную решимость руша,
Ко мне вернулись слабость, малодушье...
Куда я от него теперь уйду,
Коль не сумела отвратить беду,
И в первый вечер вырваться отсюда?
Где оправданье моему стыду?
Кем я теперь для Джолдошбека буду?

Нет выхода. Меня уже зовут
Не девушкой, а женщиной. Но здесь я
Замужеством избавлюсь от бесчестья,
А там — кто честь вернет мне? Институт?

— Подумай,— я сказала Калмамбету,—
Ведь не совсем же ты лишен души,—
Нам вместе жить приходится. Реши,
Как нам разумней жизнь построить эту.

Я сбросить не могу узду теперь,
Не мучайся, я не уйду теперь.

И у ночи свет звездный есть,
И тепло в день морозный есть,
И у горя улыбка есть,
Правота и в ошибке есть.

Что прошло — то прошло навек,
Важно «завтра», а не «вчера».
Если добр ко мне человек,
Я к нему и сама добра.

Если ты не кривишь душой,
Я не буду тебе чужой.
Нам одна судьба суждена,
Пред тобою — твоя жена.

В клетке — пусть ты мне рай создашь —
Мне опять опротивеешь ты.
Если ж ты мне учиться дашь,
Знай, меня осчастливишь ты.

Хочешь, я запишусь с тобой,
Клятвой я поклянусь любой,
А с дипломом только к тебе
Только к мужу вернусь домой.

И я письмо дала ему прочесть.
Но Калмамбета испугала весть,
Которая мне песнею звучала.
— Твое желание я поспешу
Исполнить,— он ответил,— но сначала
Совета я у матери спрошу.

Мы были до сих пор наедине,
Вдруг Мистекан ввалилась в дом сердито;
Она куда-то ездила к родне,
И возвратилась с целой женской свитой.

Я всем им поклонилась, но свекровь
Сказала властно мне:
— Ты что не в духе?
Ну, кланяйся же матери-старухе!

Я замерла, хоть и кипела кровь:
Зачем же бить поклоны вновь и вновь?!

Свекровь на сына глянула с укором
Тот головой поник.
С таким позором
Я не могла смириться и ушла.
А женщины затарахтели хором,
(Они все были явно под хмельком):
— Теперь смиренья не найдешь ни в ком!
— Нет у девиц почтенья к старшим ныне!
— Она не признает нас из гордыни!
— Теперь покорен так жене джигит,
Что ей в угоду мать свою бранит...

И оглушенный Калмамбет с досадой
Заметил матери: «Оставь. Не надо...»
И смолк обиженно; лицо его
Побагровело. Только и всего.

13

...Порой я к мужу чувствовала жалость:
Мать безраздельно им распоряжалась,
При ней он слова вымолвить не смел,
А без нее — старался, как умел,
Мне угодить, помочь... И постепенно,
Входя во все домашние дела,
Я в доме власть, как будто, обрела.

Свекровь бесила эта перемена.
Она не раз говаривала зло,
Что, мол, ей на невесток не везло,
Что надоело дерзости терпеть ей.
Короче — я была по счету третьей.

Еще учился где-то Калмамбет,
Когда ей дочку отдал в дом сосед.
Старуха пела девочке безгласной:
«Помошницею будь вдове несчастной».

А сыну, что наведался домой,
Сказала сразу холодно и веско:
«Знакомься, это вот моя невестка!»
Ослушаться не смел красавец мой...

Робка, не избалована любовью,
Бранима, понукаема свекровью,
Трудилась молодая, как раба,
И, застудившись, стала харкать кровью.

Работала, пока свалилась с ног.
Явился знахарь — знахарь не помог.
Она лежала,— лань в берлоге волчьей,—

Стекали слезы с бледного лица,
И как жила — простилась с жизнью молча,
Лишь нарыдавшись вволю, до конца...

Свекровь, изображая сожаленье,
Сказала: «Таково судьбы веленье».

Приехал Калмамбет. Он важный пост
В совхозе занял к радости старухи.
У Мистекан стал и повыше рост,
Спина потолще, подлиннее руки.

Невестку ей хотелось в этот раз
В районе взять. И девушка нашлась:
Отец был председателем колхоза,
Она — окончила десятый класс.

И Мистекан сама, искусно очень,
Взялась за непростое сватовство,
Сказав отцу невесты, между прочим,
Что этот брак им нужен для того,
Чтобы колхоз с совхозом связь упрочил.

Но у второй невестки, говорят,
Характерец был моего покруче:
Свекровь ее речей узнала яд,
А мямля муж — насмешки шип колючий.

Она недолго с ними пробыла,
И вырвалась, не побоявшись риска;
Семь гор прошла, пять рек переплыла,
Но не дала сломать себе крыла!
Теперь она известная артистка...
Люблю родную душу я ее,
Завидую я, слушая ее!

Невестка третья — это я. Хоть имя
Мое Шекер — судьба моя горька[1].
Я вынуждена действовать пока
Лишь жалобами горькими своими.

Пускай мне причинили много зла
И сын и мать,— я б им простить могла,
Когда б утихомирилась старуха!
Но нет, она колола, как игла,

Придумывала, как меня больнее
Унизить, опорочить, оболгать.
А ты молчи, склоняйся перед нею,
Тащи свою безрадостную кладь
И жди, чем удивит свекровь опять.

Вот и сегодня утром... Край востока
Чуть-чуть светлел, еще и не румян,
А уж по дому бродит Мистекан.
Она, ленивица и лежебока,
И за водой отправилась сама,
И самовар поставила сама,
Двор подмела и, как была с метлою,
К нам в спальню ворвалась в такую рань;
Она с какой-то тщательностью злою
Шырдак терзала. Но не пыль, а брань
Шальной старухи в воздухе повисла!
Ведь не было в уборке этой смысла:
Глупейшая затеяна возня
Лишь для того, чтоб уязвить меня.

---

[1] Шекер — по-киргизски сахар.

Был Калмамбет ошеломлен спросонья,
Свекровь мела, пронзительно трезвоня:

— Мне от сына услады нет!
Мне с невестками сладу нет!

Чаем по́ите вы меня?
Чай могу я согреть сама.
Не покоите вы меня,
Видно, выжила из ума.

— Зачем ты поднимаешь всех чуть свет? —
Спросил ее сердито Калмамбет.

— Что ж, сынок, наплевав на мать,
Можешь ты, сколько хочешь, спать!

— Но разве в нашей спальне пыль и грязь.
Зачем ты вдруг уборкой занялась?

— Калмамбет, ты совсем слепой,
Околпачили нас с тобой!

Как пришла к нам эта келин[1],
Перестал мне быть сыном сын.
В доме старом моем, увы,
Уважать не стали седин!

Здесь такие творятся дела,
Что считай: твоя мать умерла...

---

[1] Келин — молодуха

Сам избрал ты себе судьбу.
Горе жениному рабу!
Не держу вас —хоть завтра в город
Отправляйте свою арбу!

Я тебе уже не нужна,
Но как матери мне поверь:
Раз учиться едет жена,
Ты совсем пропадешь теперь.

Бедный сын мой, в ее руках,
Будешь ты, словно глины ком,
Будешь ты ею втоптан в прах,
Смешан с грязью и кизяком.

Что же, кланяйся, угождай
Драгоценной своей Шекентай!
Все ей отдал,— родную мать
Остается теперь прогнать!

Положись на сына — тебя,
Как золу, как груду тряпья,
На становище старом бросят...
Дочь утешит меня, любя!

Разухалась старуха, как сова,
И затряслась седая голова,
А слезы заливали щек морщины...

И стало мне терпеть невмоготу
Безумье матери, бессилье сына,
Постылого ущелья тесноту!

Я вспоминала этот день не раз.
Сам воздух здесь подобен был отраве,
Кололи, а не радовали глаз
И шелк ковров, и одеял атлас,
Чужие взгляды с чьих-то фотографий.

Летели дни, лишь горе мне даря.
Я в зеркале себя не узнавала:
Как отбеленный стебель кендыря
Мое лицо бескровное увяло.

Лишь раз порозовело вдруг оно,
Когда я в утро летнее одно
Из зеркальца — подарка Джолдошбека —
Достала снимок, сделанный давно.

Тот снимок за стеклом был сзади спрятан.
Пологий берег. Иссык-Куль. Джигит
И девушка веселая с ним рядом,
Та самая, что плачет здесь навзрыд..

И все вокруг чужим мне стало сразу:
И этот дом, и люди, и само
Мое смирение — мое клеймо.
Оттаяла душа, проснулся разум.

Ах, если бы увидел наяву
Любимый мой — как трудно я живу!
Быть может, вместо злого назиданья,
Я б услыхала слово состраданья...»

Шуршат под пальцами, дрожат страниц края.
Склоняется джигит: «Бедняжка ты моя!»
И сломанным крылом волос густая прядь
Бессильно падает на белую тетрадь.

Печальной повести начальная глава
Укоров совести не вызвала сперва,
Теперь же Джолдошбек, себя виня, прозрел:
Обида, «честь»—все ложь, одна любовь права!

Он поднял голову. Как звезды далеки
От человеческой томительной тоски!
Лишь лампа теплая мигает на столе,
Вещая, что живет надежда на земле.

Не сделал видимой печаль души одной
Алмазный свет небес, а бедный луч земной
В тетради каждый лист, задолго до зари,
Так ясно освещал, как будто изнутри.

«...Проснулся город. Иней с тополей
Слетает тихо на асфальт аллей.
Ресницами серебряными солнце
Коснулось робко ледяных ветвей.

Кричу снежинкам: «Как вы ни кружите,
Моей весны вы не запорошите!»
Я вновь учусь. Опять я стала жить
В студенческом девичьем общежитье.

Смирился муж, и крик свекрови стих;
Я вырвала согласие у них,
Откликнулась на вызов института.
И снова жизнь переломилась круто.

Все знают: после пережитых бед
Я замуж вышла. Но меня тревожит,
Что не был здесь ни разу Калмамбет,
Хотя уже четвертый месяц прожит.

И вот сегодня он пришел, мой муж,
Неловок, как всегда, и неуклюж,
Но, кажется, с открытою душою.
Обрадовалась я ему, не скрою,
Ведь он уже мне близкий человек:
Кого еще могу назвать я другом,
Когда меня, быть может, по заслугам,
Забыл, коли не проклял Джолдошбек?!

Была еще причина, по которой
Ждала я с Калмамбетом встречи скорой.
Мне трудно было говорить о том,
Что я скрывала от чужого взора,
И я сперва молчала... Лишь потом
Слова из горла извлекла с трудом.

Решилась, а сама от страха стыну.
Сказала я: «Ты знаешь, Калмамбет,
Я не одна — в себе ношу я сына...
Как быть?»
И я услышала в ответ
(Уж лучше б разговор наш не был начат!):

— Ты учишься, а кто же будет няньчить
Ребенка твоего? Или рожай,
Иль сделай что-нибудь — сама решай,
Но мать мою не превратишь ты в няньку!

Увидев сердца черного изнанку,
Оледенела я и поняла,
Что надо мной опять спустилась мгла...

И Калмамбет исчез. Я изнывала
В тревоге. От других я узнавала,
Что в городе бывал он, но ко мне,
Ни разу не зашел... К своей жене!

И письма оставлял он без ответа.
Так я металась в горе без просвета:
Боль в сердце и дитя под сердцем...
Что ж,
Добей меня, судьбина, уничтожь!
Зачем писать? Не выдержит бумага
Рассказа о мучениях моих,
Чернильная в кровь превратится влага.
И в крик предсмертный — звуки слов простых.

Осталась я без мужа, без опоры,
С ребенком — не вдова и не жена,
Осталась одиношенька-одна.
Признаться людям? Снова — разговоры,
А я ведь все скрывала до сих пор:
Никто не знал про новый мой позор.

Набухли бугорки на ветвях голых,
А у меня в душе еще зима.
Хворал ребенок мой, и я сама
Держалась чуть не на одних уколах.

И день такой тяжелый наступил,
Когда забыв про страх, и стыд, и гордость,

Решила я вернуться в свой аил.
Пусть я приду, под грузом горя горбясь,—
Любви я больше не найду нигде.
Какая мать, какой отец в беде
Дитя свое отвергнут и не примут,
Сердечно не утешат, не обнимут?..»

На этом записи оборвались. Чисты
Тетради горестной последние листы.
Все чаще язычок у лампочки дрожит:
«Эй, керосин иссяк! Ложись-ка спать, джигит!»

Сжимает Джолдошбек зеленую тетрадь,
Как будто он опять боится потерять
Свой чудом найденный и возвращенный клад.
А в сердце все идет допрос: «Кто виноват?»

Мигает звездами высокий небосвод,
Вздыхает Иссык-Куль всей грудью сонных вод,
Джигиту чудится, что кто-то на холме
К себе настойчиво его зовет, зовет...

И Джолдошбек пошел на дальний,
смутный зов,
На самый сладостный из властных голосов.
Чей это голос был: Раскаянья? Любви?
Иль ветер с озера о чем-то пел без слов?

15

Не знаю, ложился ли спать агроном,
И что было явью, а что было сном,
Но утром он к озеру снова шагал
Поздравить простор с наступающим днем.

Добротная кирзовых пара сапог
Не ведает непроходимых дорог:
Верблюжьи колючки топча, Джолдошбек
Прибрежные солончаки пересек

И вышел к излюбленному валуну.
Под солнцем катил за волною волну
Искрился, синел и седел Иссык-Куль,
Подобный серебряному руну.

Казалось, скрывалась Шекер в том руне —
То канет, то вынырнет вдруг в стороне...
Но нет же, так рано не может она
Здесь плавать, как лебедь из давнего сна.

За думой джигита поспеть кто бы смог?
Она, словно ветром гонимый челнок;
Напрягшись, как парус, трепещет душа,
Но берег желанный уже недалек!

Пусть имя любимой ославит молва,—
На нем и пятна не оставят слова.
Пусть женщиной, матерью стала Шекер,
Любовь от того ведь не стала мертва!

Послушай, народную мудрость ценя:
«Иной жеребенок — дороже коня,
Иная молодка — девицу затмит».
Что милым молва, если любит джигит?!

Добру Джолдошбек свое сердце открыл,
С возлюбленной, с озером он говорил:

«Шекер, ты, как снег на вершинах, чиста,
Чужая душе не страшна чернота.
Пусть люди запачкали сажей тебя,
Своей опозорили кражей тебя,
Мне сердце мое,— самый строгий судья,—
Твердит, что не ты виновата, а я.
Должна на джигитов вина эта лечь,
Что милых своих не умеют беречь.

Мой друг бессловесный, родной Иссык-Куль,
Тряхни волновой сединой, Иссык-Куль,
Меня надоумь и подай мне совет,
Ведь ты мой наставник с младенческих лет.
Ты правдой прямою меня потряси,
Ты в зеркале ясном своем отрази,
Не тучи и не берега в камыше,

А то, что у бедной Шекер на душе.
Мечту этой раненой гордой души
Ты синими строчками волн напиши,
И если там встретится слово «люблю»,
Стереть его новой волной не спеши».

Джигит белопенную видит кайму,
То друг Иссык-Куль улыбнулся ему:
«Будь верным!» — влюбленное сердце прочло,
И юноше стало легко и светло.

И пригоршню озера он зачерпнул,
Чтоб смыть и усталость, и горе с лица,
И друг ему шелестом капель шепнул:
«Шекер Джолдошбеку верна до конца...»

Джигит словно спрыснут живою водой:
Прозревшим покинул он берег пустой,
И взгляд веселей, и решительней шаг...
Вошел агроном в созревающий мак.

Качаясь на тоненьких шейках стеблей,
Коробочки жмутся друг к другу тесней,
Бежит по мохнатым кустам ветерок
И гладит их, как по головкам — детей.

Проворные сборщицы опия там
Без устали ходят по ровным рядам.
Насмешницы, спорщицы эти келин,
Хозяюшки прииссыккульских долин.

Пройдись, любопытство у них разожги —
Как щипчики щелкают их язычки:
Мгновенье — уже на зубок ты попал,
Мгновенье — уже, видит бог, ты пропал!

Спасения нет от шутниц-молодух:
Всё могут сказать без стеснения вслух,
Всё знают, смеются над всем, от всего.
Люблю я кипучее их озорство!

Конечно, в то утро и наш Джолдошбек
Намеков и шуточек их не избег.
С тех пор, как вернулась Шекер, агроном
Считался сомнительным холостяком.
И девушек, и незамужних келин
Неясный вопрос беспокоил один:
«Простить ли не может обиду джигит,
Иль хмурится только для виду джигит?»

И самая бойкая, встав на пути,
Смеясь, не дала Джолдошбеку пройти:
— Постой-ка,— сказала,— дружок-деверёк,
Меня папироскою ты угости.

Он вмиг озорницами был окружен.
И вмиг — портсигар его опустошен.
Душистого дыма взлетели клочки,
Вовсю заработали язычки.

— Что-то наш джигит грустит
И вздыхает тяжко!

— Если так грустит джигит,
Он влюблен, бедняжка.

— Он, как мы, не режет мак,
А худой и желтый.

— Эй, джигит, скажи нам — как
Девушку нашел ты?
— Он от девушек бежит.

— Хороши ж девицы,
Коль от них такой джигит
Убежать стремится!

— Говорят, он признает
Лишь умом достойных.
— Говорят, он узнает
Лишь, как тополь, стройных.

— Эй, джигит, откройся нам:
Кто же всех умнее?
— Ты сказать не бойся нам:
Кто же всех стройнее?

Тут сборщицы вновь разошлись по местам,
Усмешки лукаво бегут по устам,
Чуть-чуть почему-то грустнеют глаза,
А пальцы их шарят опять по кустам.

И женщина, милой улыбкой светясь,
Сказала, исполненная доброты:
— Мы просто хотели развлечься, и ты
Пожалуйста, не обижайся на нас.

Другая глаза поспешила отвесть:
— У каждого юноши девушка есть...
А третья за все извинилась звено:
— Слова молодух — зубоскальство одно!

Потом говоруньи примолкли. Глядят
То вверх, на нагорье, где домик и сад
Шекер, то на парня... Смущает его
Их острый и многозначительный взгляд.
Им ясно, по ком извелась в эти дни
Бедняжка Шекер, и какая тут связь
С рассеянностью агронома.
Одни
О них перешептываются, смеясь,
Другие — жалеют их... Вот и сейчас
Прочел Джолдошбек в глубине этих глаз,
Смешливых и грустных: «Иди же, иди...»
И стало и сладко, и тесно в груди.

16

Как сплав драгоценный, блестя под луной,
Молчит Иссык-Куль и не плещет волной.
Кыштак засыпает в вечерней тени.
Один за другим потухают огни,

Как будто их звездному небу взаймы
Земля отдает...
С наступлением тьмы,
На улице тихой, безлюдной уже,
Ступая с оглядкою, настороже,
Шекер появилась. Как видно, она
Прогулку откладывала дотемна,
Чтоб встреч на тропинках пустых избежать,
Чтоб ей пересудов людских избежать.

Коляска катилась с трудом, как слеза...
А старая мать, напрягая глаза,
Следила за девочкой бедной своей,
Что день ото дня все грустней, все мертвей.

О, шрамы святых материнских морщин!
Вы — раны, которые дочь или сын
Наносят, не ведая сами подчас.
Простите, печальные матери, нас!

Катилась коляска... Кто знает, куда?
Наверное, к озеру, где, как всегда,
Таинственно и доверительно так
С Шекер, как с подругой, шепталась вода.

Внезапно послышались чьи-то шаги:
Неясная тень приближалась... И вот —
Знакомые кирзовые сапоги,
Знакомую кепку Шекер узнает.

Подавленный вскрик. Испуганный взгляд.
Шекер повернула коляску назад.
Скорее домой, под родное крыло!
Смятенье ее, как на крыльях, несло.

Уже у двора оглянулась Шекер:
Он — следом! Совсем задохнулась Шекер.
У самой калитки ждала ее мать:
— Скорее, скорее, нельзя здесь стоять!

Коляска — в комнату. Дверь — на крючок.
Закрыто окно. (А топот сапог
Все ближе, все ближе). Погашен свет,
Чтоб тот ничего разглядеть не мог.
Ломая пальцы, как смерть, бледна,
Женщина замерла у окна.

Меж тем, деревянный забор обойдя,
Недоумевал Неизвестный: — Ведь я
Сам издали видел: светилось окно.
Куда ж оно делось? Повсюду темно.
Уж не заблудился ли я?
И джигит
В растерянности перед домом стоит.

А в доме послышалось громкое «ах!»
Призыв ли звучал в нем, иль слышался страх—
Не знаю. Но это был голос Шекер,
Не голос, а крыльев отчаянный взмах!

Встревожилась мать: не беда ли стряслась?
Ведет себя очень уж странно Шекер:
Вернулась в испуге, потом заперлась,
Теперь закричала нежданно Шекер.
Я дочь свою попросту не узнаю,
Чья тень испугала голубку мою?

А тень перепрыгнула через забор;
У тени с собакой затеялся спор:
Дворняга, дрожа, на джигита рычит,
Джигит на дворнягу в досаде кричит.

И вдруг в этом сером взлохмаченном псе,
Во всей его недружелюбной красе,
Джигит — он и сам был тогда еще мал —
Щеночка — товарища детства — узнал.

«Каблан, мой дружок!» — человек произнес,
И к старому другу стал ласться пес,
Огромный, лицо он лизнуть норовит...
«Как долго я не был здесь!» — думал джигит.

Потом тишина удивила его:
Молчат. Неужели там нет никого?

А мать в это время смотрела в окно.
Пришельца она разглядела давно,
И грустно шептала: «Забыл ты про нас,
Зачем же, мой мальчик, пришел ты сейчас?»
Впервые за месяцы горя и слез
Надежды росток в ее сердце пророс.

Стук в дверь. Осторожный, почтительный стук.
Старуха дверной бы отбросила крюк,

Но дочь торопливо ей знак подала.
Решимость, гордыня, и боль, и испуг
Владели Шекер, разлились по лицу.
Нет, нынче откроют здесь только отцу!

Сдержал себя гость запоздалый: «Постой,
Ведь люди ложатся с вечерней звездой,
Нельзя же так поздно будить стариков,
Не надо и делу вредить суетой.
Приду-ка я завтра, и — слово даю —
Я матери душу открою свою».

Джигит отошел, закурил «Беломор»,
И перемахнул через низкий забор.
В приязни, как в злобе, неистов и рьян,
За ним далеко увязался Каблан.

Шекер, притаившаяся у окна,
Все видела... О, как была ей страшна
Разлука без встречи! Ушел он, ушел.
А как же вернет его снова она?

И бедная женщина из дому вон
На улицу выбежала вдогон,
Но сил своих не рассчитав сгоряча,
Она задержалась у карагача,
Который в ночи над арыком шумел,
И ствол обняла, чье-то имя шепча...

Джигит уходил, удаляясь во тьму,
Кудлатый Каблан все ласкался к нему.
«Вот даже собаки любят его...» —
Сказала Шекер неизвестно кому.

17

Прекрасны одеянья нежных яблонь,
Отрядов лука крошечные копья,
Блестящих листьев кукурузных сабли,
И сизые голов капустных взлобья.

В тепло долины, в ласковое лоно,
Переселенные со склонов горных,
Цветы сверкают у стены беленой
Великолепьем венчиков узорных.

Вершины важные — цари природы —
Спокойно смотрят с высоты бездонной
На мирные сады, на огороды,
На пастбища Киргизии зеленой.

Стройна, как девушка, и смуглолика,
Босая, в шароварах и косынке,
Шекер орудовала у арыка,
Ведя на грядки воду без заминки.

Кетмень ее был с черенком коротким,
Она легко одним движеньем четким,
Взрезала землю, влаге дав дорогу,
И холодил поток босую ногу.

Как хорошо быть дочерью аила,
Чья добрая земля тебя вскормила,
И пот стирать со лба под жарким солнцем,
И чувствовать: в тебя земная сила
Вливается, печаль твою врачуя,
Как эти струи в борозду сухую!

Давно уж не была такой счастливой
Моя Шекер.
Но к дому ненароком
Приблизившись, она под старой ивой
Увидела гостей.
И словно током
Ударило ее открытье это!
Зачем сюда нагрянули с утра
Джакий и Закия — зять Калмамбета
И Калмамбета старшая сестра?

Родители Шекер гостеприимны:
Гулькан-апа возилась с самоваром,
Поднявшим среди яблонь факел дымный,
Бакаш-ата внимал тому, что с жаром
Учитель говорил...
Нет, нет, недаром
Забилось сердце у Шекер несчастной.

Казалось, солнце, что светило ясно,
Затмилось облаком, и почернели
В саду цветы и листья... Неужели
Джакий-аке недоброе замыслил
И Закия способна на коварство?
Ужели тучи новые нависли
И суждены ей новые мытарства?

В душе Шекер — тревога, возмущенье:
«Я не покину больше мать родную,
Я не вернусь в ужасное ущелье,
Отцу не покорюсь, на все пойду я,
Пусть даже от меня он отречется,
Пусть даже мое сердце разорвется!»

Шекер, за ближним спрятавшись стволом,
Подслушала беседу за столом:

— Бакаш-аке, не может ли опять
Костер, уже погасший, запылать?

— Вот что, Джакий, сынок:
Если сучьев сухих подложить,
Если дров неплохих подложить,
То взметнутся опять, высоки,
Краснопламенные языки.
Затрещат, запылают дрова,
Согревая людей наших гор.
И везде разнесется молва:
— Снова вспыхнул погасший костер!

— Бакаш-аке, ушедшему давно,
Ужели возвратиться не дано?

— Вот что, Джакий, сынок:
Если воля его не слепа,
И ведет его прямо тропа,
И его не отвергнут друзья,—
Почему же вернуться нельзя?
Снова все улыбнутся ему,
Удостоят почета опять,
И в его опустевшем дому
Будут снова цветы расцветать.
Там, где было пустыни пустей,
Станет тесно от добрых гостей.
Но напрасно меня в болтуна
Превращаешь расспросами ты.
Одолела мой ум седина
И лишила былой остроты.

— Бакаш-аке, возможно ли опять
Распавшееся некогда — собрать?

— Вот что, Джакий, сынок:
— Если смотрит вдаль человек,—
Я сказал человек, не урод,—
Если крепок, как сталь, человек,
Он распавшееся соберет.
Тот, чья жиром душа заплыла,
Как бы долго ни шел — упадет.
Тот, чей разум во власти зла,
Как подгнивший ствол, упадет.

Распря может и миром стать,
Слабый может батыром стать,
И не может только глупец
По-разумному рассуждать.
Вот что, Джакий, сынок:
Вокруг да около не кружи,
Что ты хочешь — прямо скажи.

Шекер застыла: что Джакий ответит?
Но обмерла от страха почему-то,—
А вдруг ее здесь кто-нибудь заметит? —
И скрылась во дворе в одну минуту.

И вспомнилось ей памятное утро:
Над побережьем солнце ярко светит,
Ей платье новое длинно́ немножко,
Смешно торчат косички озорные.

Мать положила в сумочку лепешку
И в школу дочку привела впервые:
— Учитель, и мою примите крошку,—
Почтительно сказала мать Джакию.

И с той поры, он, как птенца полету,
Учил Шекер стремленью к правде, к
знаньям.
Вовек ей не забыть его заботу!
А он — ужели над своим созданьем
Он может надругаться сам, и птицу,
Которую он пестовал дотоле,
Которую учил парить на воле,
Сам хочет в клетку запереть, в темницу?

Вставая, так сказал Джакий Бакашу:
— Благодарю вас за беседу нашу,
Душа нашла то, что давно искала.
Учитель крепко обнял аксакала,
Гулькан-апа сквозь слезы улыбнулась
И руку Закии поцеловала.

Моя Шекер, что от гостей таилась,
В мучительном неведенье томилась.
Терпенья у нее едва хватило
Не выскочить из своего укрытья,
Покамест мать гостей не проводила.
Вот, наконец, они ушли. Смотрите,
Как дочь к старухе-матери усталой
С вопросами-расспросами пристала!

— Апа, о чем вы говорили с ними?
(Молчала мать, глазами дочь лаская,
Улыбчатыми, добрыми, родными).
Ну, почему ты странная такая?
Хотя бы слово проронила, старушка.
Куда отец ушел с Джакием? Что вы

Задумали? Ужель должна я снова
Стать чьей-нибудь служанкой иль
игрушкой?

— Э, доченька, такого нет джигита,
Чтоб за тобою гнался, даже пьяный!
Не мучайся, пусть заживают раны...

— Но все-таки о чем шла речь, скажи ты?
— Дитя мое, ведь есть джигитов много
Чистосердечных и в рассудке здравом,
Не вывелись и люди с добрым нравом...

— О чем шла речь, скажи мне, ради бога!
— Дитя мое, решает все отец твой.
Не бойся, все пойдет не так, как прежде.

Припала дочь к родной груди, как в детстве,
И в первый раз не отблеск новых бедствий —
В ее душе надежды свет забрезжил.

18

Шекер не спала, и казалась ей длинной
Бессонная ночь, словно медлил рассвет.
Закроешь глаза — слышен зов соловьиный,
Вздымается синей громадой хребет,
Потоки гремят, низвергаясь в долины.

Откроешь глаза — полумрак, тишина,
И мирно посапывает в колыбели
Дочурка. И все-таки песня слышна,
Предчувствием смутным и сладким полна,
В саду ли звенит она тихом, в тебе ли?..

А ночь, словно жизнь, то темна, то светла,
К заре равномерною поступью шла.

Над прииссыккульской родной стороною
В свой час посветлела и выцвела высь;
Лучи, золотисто-белы, как парное
Дымящееся молоко, пролились.

Безмолвствовал дом, еще дремой объятый.
Неслышно, боясь разбудить стариков,
Шекер уже встала с постели измятой,
И вышла.
А утренний сад до краев
Был полон и шороха листьев, и света.
Под ивой, что солнцем еще не согрета,
Уселась Шекер: час «Манаса» настал,
И ветер восторга страницы листал.

Уж несколько дней эти древние строки,
Творенье все новых и новых певцов,
Пред ней открывали безмерно широкий
Мир преданных женщин, отважных бойцов.

Столетья видны были, как с перевала.
Пред ней, за Манаса вступая в борьбу,
Воинственная Канькей представала,
Скакал аргамак со звездою во лбу.

Вот залита кровью стальная кольчуга,
На землю в беспамятстве рухнул Манас.
А вот его с поля увозит подруга,
В ночи на тулпаре[1] летающем мчась.

---

[1] Тулпар — скакун.

Шекер повторяла: ведь все это сказки,
Певцами придуманные в старину,
Но как же — не хитростью, не по указке,—
В веках они прожили жизнь не одну,
Киргизской души задевая струну?

О песни Тянь-Шаня! Средь гор и ущелий,
На дальних сыртах и в полынных степях,
Вы не увядаете в наших краях,
Как вечнозеленые горные ели.

Вы — как легендарные богатыри,
Чье мужество вами воспето впервые;
Сражались они от зари до зари,
И все ж выходили из боя живые,—
Так живы и ваши стихи вековые!

Поэзия, чей созидатель — народ,
Вовеки не ведает старости бремя:
Под солнцем свободы румянится плод.
Да будет благословен твой приход,
Народу вернувшее молодость, время!

Вдохнув ли садовой прохлады с утра,
Иль прелести вечной певучего слова,—
Шекер ожила, и свежа, и бодра,
Как если б умылась водой родниковой.

Вдали неожиданно взвизгнул Каблан.
И наша Шекер встрепенулась тревожно:
Кто вторгся в ее размышленья, незван?

Вот хрустнул сучок под ногой осторожной.
(Щемяще и радостно сердце стучит).
Шекер оглянулась. Высокий джигит,
Уже не таясь, подходил неуклонно;
Какой-то решимостью весь он дышал,
Сжимал он тетрадку в обложке зеленой,
И куклу в руке почему-то держал.

Он как бы и не помышлял о преграде,
И шел, отметая сомнения прочь.
На лбу его спутались черные пряди —
Их ветер трепал, и бессонная ночь
Угадывалась в лихорадочном взгляде.

И женщине юной почудилось вдруг:
В безмолвии, что воцарилось вокруг,
Отчетливо имя ее прозвучало...
А может быть, не окликал ее друг,—
Из уст ни единый не вырвался звук,—
Лишь сердце джигита «Шекер!» прокричало.

Над ними легко шелестела листва,
Пропали куда-то в тот миг все слова,
Все звуки, движенья, все краски на свете —
Одни лишь глаза говорили! И два,
Друг к другу стремящиеся существа
Теперь разделял только утренний ветер.

И юноша просто сказал: — Я пришел,—
Шекер, обомлевшей от слова простого,
Тетрадь показал и сказал: — Я пришел,
Она меня и привела к тебе снова...

И брызнули слезы из глаз у Шекер,
И к жизни воспрянула сразу Шекер,
И сжал Джолдошбек ее белые руки:
— Не мог не вернуться я к милой подруге!
Прости, что не верил сначала, Шекер.
— Прости меня ты,— отвечала Шекер,
И схлынула боль, что так долго копилась,
И сердце близ сердца любимого билось...

Шекер говорила, от счастья светла:
— Была я очами, сожженными плачем,
Была я цветком, до расцвета увядшим,
И я закатившимся солнцем была,
И лебедем белым на синем просторе,
Как рыба, на дно опустившимся в горе,
Но ты возвратился — и вновь я всплыла!
Очам возвратил ты их очарованье,
Цветку — его свежесть, а солнцу — сиянье,
И звучность — возвышенной песне певца,
И снова поверила я в человека!
Ах, если б у наших джигитов сердца,
Так были чисты и верны до конца,
Как у моего Джолдошбека!
Коль юности юность желает добра,
Обман, заблужденья, насилье — бессильны.
Могла ль я мечтать еще только вчера,
Когда леденил меня холод могильный,
Что буду сегодня в объятьях твоих?

Уступим же слово устам молодых —
Кто может быть красноречивее их?
К чему им, поэт, вся твоя говорильня,
Замолкни, мой непритязательный стих...

Коли писатель ты, да и поэт притом,
Живи среди людей и следуй их путем,
И сам распахивай ты жизни целину
Как острым лемехом—эпическим стихом.

Какие замыслы овладевают мной
Над иссык-кульскою сапфировой волной!
Когда б у озера заимствовать я мог
Прозрачность, глубину и блеск его живой!

Однажды долго я по берегу бродил,
Мне вспомнилась Шекер, ее родной аил.
Минули месяцы, а может быть, года,
С тех пор, как я в гостях у Джолдошбека был.
Джигита с женщиной увидел я вдали.
Хотя они ко мне не скоро подошли,
Но в милом облике той молодой четы
Почудились давно знакомые черты.

И быстроногая, как легкий ветерок,
Избранница еще не сочиненных строк
Приблизилась ко мне: — Так это вы, агай?[1]
Шекер, моя Шекер! Тянь-шаньский мой
цветок!

Мой добрый Джолдошбек, сын поднебесных
гор,
Он на слова не щедр, в суждениях не скор,
Зато уже потом надежен, как скала,
Как только вынесен душевный приговор.

---

[1] Агай — ласковое обращение к старшему мужчине.

У молодых друзей моих я был в долгу:
Зеленую тетрадь забыть я не могу!
Да, с ненаписанной поэмою своей
Я встретился тогда на тихом берегу.

Я видел: светится улыбкою джигит,
Неразговорчивый и сдержанный на вид.
Я слышал: спутницы пленительной его
Веселый голосок бубенчиком звенит.

Все было — и капкан, поставленный хитро,
Друг отступившийся, и слабость, и хула...
Но выжила душа! Ее спасло добро,
И, обновленная, она не помнит зла.

Кто грязью прошлого покрыт и туп, как скот—
Тот корма конского отбросы, тот — кашек.
А добрые дела свершивший человек
Прославлен песнею, в сердцах людских живет.

Шекер сказала: — Есть у нас такой джурат[1]
Что выпить хочется хоть пять пиал подряд.
И перепелочку зажарю я для вас,
И духом яблочным благоухает сад.
Вблизи у озера стоит наш новый дом.
Мы обязательно к себе вас в гости ждем.
Хотя и сами мы не мастера писать,
Необходимые слова мы вам найдем.

Добавил Джолдошбек: — Нас огорчит отказ.
Скажу, не хвастаясь,— айран[2] хорош у нас!

---

[1] Джурат — особо приготовленное кислое молоко.
[2] Айран — кислое молоко, разбавленное водой.

Чолпон уж подросла. Аил вас ждет, агай,
Ведь тоже вырос он, как весь озерный край.

Познала юность мир и счастья полноту.
Нет высшей радости, чем видеть жизнь в цвету!
Спокойны за свою судьбу мои друзья,
Но не спокоен я: урок забыть нельзя,
И мы поговорить должны начистоту!

— Конечно,— начал я,— я буду очень рад
Отведать ваш айран, попробовать джурат.
Но где я вам возьму приятное питье?
Обычно снадобья целебные горчат.

Вершины наших гор суровы и грозны,
Пугливому не взять их гордой крутизны.
А наше озеро... Незрима мощь его,
Но может сталь рассечь прозрачный мечь
волны!

И хмурится чело могучих древних гор,
И озера так зло сверкает гневный взор,
Когда наш юноша приемлет без стыда
И трусости позор, и совести укор...

Шекер сказала:— Мне ваш непонятен сказ,
А может, попросту я плохо слышу вас?

— Увы,—ответил я,— несладко ж я пою,
Коль скоро женщина не слышит речь мою!

Джигит воскликнул: — Все скажите напрямик,
Пусть даже ваших слов правдивых острия
Нещадно колют нас больнее всяких пик,
Мы стерпим все, агай!

И снова начал я:

— Нетвердый, рыхлый ствол, по слабости
своей,
Быстрей становится добычею червей.
Разбойника никак не трогает мольба:
Все вырвет из руки, которая слаба.

Припомни, милая Шекер,— что́ Калмамбет
С тобою сотворил, в какую бросил грязь?
А ты, покорная, нарушила обет,
Ты, что свободою дышала с малых лет,
Темницу предпочла, насмешки убоясь!

Тебе могли помочь. Но у друзей, подруг,
Сама ты выбила оружие из рук
Своим согласьем. Ты, конечно, жертва зла,
Которое еще приносит много мук,
Но ведь тебя к борьбе готовили — и вдруг
Свое несчастие позором ты сочла.
В ущелье прошлого была ты заперта,
Но разве не была душа твоя чиста?
А ты не верила, что верен Джолдошбек,
Что он спасет любви надломленный побег.

Могла ты убежать, пусть ночью, пусть тайком,
По острым осыпям, колючкам босиком,—
Для любящей души нет никаких преград,—
А ведь у нас теперь она вольна стократ,—
Но ты бессилие свое звала судьбой,
С ней примирилась ты, а не вступила в бой!

Я — ваш поэт, друзья. Оружием стиха
За жизнь сражаюсь я, и в том числе за вас.

Прости мне, Джолдошбек, и ты не без греха:
Терпел наветов грязь и сам в грязи завяз!

Ты девушку любил. Ударила гроза —
И ты, сын гор, закрыл и уши, и глаза!
Исчезла милая, став жертвой клеветы,—
Ее разыскивать и не подумал ты.

Скажи, позволит ли вороне соловей
На ветку сесть свою? Он сам поет на ней!
Скажи, позволит ли джигит сорвать цветок,
Тот, без которого дышать бы он не мог?

И малый перепел пытается крылом
Отбить в его гнездо заползшую змею.
Шекер попала в плен, а храбрый агроном
Не рвался вызволить любимую свою.

Не потому ль, что ты был сам тогда в плену —
В плену обычаев, обычных в старину,
Но диких в наши дни?
И девушка сдалась,
Когда ее в беде оставили одну...

Сестричка милая моя, мой младший брат!
Блуждая тропами страданий и утрат,
Опять вернулись вы на светлый, добрый путь.
Но разве не был вас я вправе упрекнуть?

И только из любви я повторяю вам:
Опять расцвел цветник на радость соловьям.
Не позволяйте же подтачивать его
Наследью тьмы былой — слепым ее червям!

Живуче прошлое: оно до наших дней
Открыто дожило в делах дурных людей.
Но разве нет его в подполье душ иных,
В том малодушии, что заставляет их
И крылья складывать, заслышав бури вой,
И солнцем жертвовать, найдя во тьме покой?

Тут спохватился я: ведь молодым друзьям
Я поученьями наскучить мог давно!
Но догадался я по влажным их глазам,
Что проросло и в них заветное зерно,
Что были их сердца со мною заодно.

. . . .

На тихом берегу стояли мы втроем.
Ночное озеро играло серебром.

О, зеркало души киргизской, Иссык-Куль!
К тебе склоняемся мы низко, Иссык-Куль,
Ты отражаешь нас, на гребнях волн дробя,
Омытые тобой — мы познаем себя.

. . . .

Ты — наша исстари родная колыбель.
Ты — чаша чистая, где молодости хмель.
В разлуку — ты шумишь о встрече, Иссык-
Куль,
Как жизнь, ты стар и юн,— ты вечен
Иссык-Куль!

. . . .

Январь—сентябрь 1960 г.

. . . .

. . .

. .

. . . . . .

ОГЛАВЛЕНИЕ

Родная земля. Перевод *С. Липкина* 7
Паризат. Перевод *Т. Стрешневой* 10
Приходит раз. » » 12
Чуйская долина. » » 14
Золотая чинара. » » 16
Лирика. Перевод *Я. Смелякова* 18
Арча. Перевод *Т. Стрешневой* 19
Я пою о тебе, Иссык-Куль. Перевод *Т. Стрешневой*. 21
Вдыхая аромат цветов. » » . 22
Песня пограничника. » » . 23
В вышине. » » . 25
Слова друзей. Перевод *В. Семенова* 30
Цейлон. » » 32
Слово негра. » » 34
Индонезийский писатель. » 36
Слово филиппинского писателя. » 38
Китайский писатель. » 40
Арабская девушка. » 43
Слово японского писателя. » 47
Слово суданца. » » 50
Писатель с острова Кипр. » 52
Мысли непальца. Перевод *В. Семенова* 54
Слово угандинского писателя. » 56
Черный паренек Сомали » 58
Афганский писатель. » 61
Вопрос черного человека. » 63
Слово алжирца. Перевод *В. Семенова* . . . 65
Гость из Италии. » » . . . 66
Говорит Мадагаскар. » » . . . 69
Снова говорит африканский писатель. Перевод *В. Семенова* 71

Мое слово. » » . . . 77
Цветок и джигит. 79
Когда светит луна. » » . . . 81
О той, что не засыхает. » . . . 84
Друг. » » . . . 86
Луч. » » . . . 88
Любовь. Перевод *И. Волобуевой* 90
Желание. » » 92
Обещание. » » 94
Немало бродил я... » 96
Детство. » » 97
Счастливые. » » 98
Скажи мне. » » 100
Не знаю я об этом дне » 101
С неба. » » 102
О ком я тоскую. » 103
Различно все. » » 105
Нежнее голубки. » 106
Твоя улыбка. » » 107
Не пришли. » » 109
О, если б здесь, в глухих горах » 111
Где ты? » » 112
Остановим, пока не поздно. » 114
Ты мне нужна. » » 116
В который раз. » » 117
Юность. » » 118
Перед рассветом. » » 119
Не трогай, пусть живет росток. » 121
Опомнись. » » 122
Мечта девушки. » » 124
Пусть он не молод...» » 126
Я видел сон. » » 127
Когда пылала в сердце кровь... » 129
Встреча на Иссык-Куле. Поэма. Перевод *Р. Морана* 131

Кубанычбек Маликов

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Стихотворения, поэма

Редактор *К. А. Дроздов*
Оформление худож. *В. С. Гладкова*
Худ. редактор *И. А. Ефимов*
Тех. редактор *С. Чотиев*
Корректор *П. С. Лесничая*

Сдано в набор 22/VII 1961 г. Подписано к печати 17/X-1961 г. Д—03000. Бумага 70X92¹/₃₂ 7,12 физич. печ. л., 8,34 условн. печ. л. 6,24 учет.-изд. л. Тираж 3000. Заказ № 1334. Цена 41 к.

Тип. № 1 Управления полиграфиздата Мин. культ. Кирг. ССР